ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР

ТЕНИ ИМПЕРИЙ



АНАТОЛИЙ КОНДРАТЬЕВ

Анатолий Кондратьев

«Восточный ветер. Тени империй»

«Автор»
2026

Кондратьев А. В.

«Восточный ветер. Тени империй» / А. В. Кондратьев — «Автор», 2026

«Военно-исторический детективный роман с элементами политического триллера, основанный на реальных событиях русско-японской войны 1904–1905 годов. Масштабное историческое полотно, в котором переплетаются политические интриги, военные события и человеческие судьбы.Война началась ещё до того, как были даны первые залпы. В 1904 году мир на Дальнем Востоке перестал существовать — задолго до того, как эскадра Рожественского вышла в море. В Петербурге, Лондоне, Токио и Циндао свои войны вели те, кто никогда не смыкал глаз. Шпионы, предатели, идеалисты и циники — они решали судьбы империй в тишине кабинетов, на палубах рыбацких джонок и в ночных переулках. Четыре истории, четыре точки на карте, один час измены...»

© Кондратьев А. В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 5
Глава 1. Таинственный «И» 6
Глава 2. Путь в контрразведку 9
Глава 3. Дом Кэндзи Тано 14
Глава 5. Наедине с собой 19
Глава 6. Утро лжеца 21
Глава7. Мобилизационное отделение 23
Глава 8. Таврическая, 17 26
Глава 9. Явочная квартира «Медведь» 30
Глава 10. Неожиданное знакомство 35
Глава 11. Бургундское и вересковый мёд 39
Глава 12. Ночной досмотр 42
Глава 13. Размышления у камина 45
Глава 14. Захват 47
Часть II. «Оружие для революции» 49
Глава 2. Токио, Второе бюро Генерального Штаба. 20 Октября 1885 года. 53
Глава 3. Киото, осень 1885 года. Паутина доверия 58
Конец ознакомительного фрагмента. 59

Анатолий Кондратьев
«Восточный ветер. Тени империй»

Глава

Часть I. «Час измены» (До войны остаётся месяц)

«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы наружу.»

— Евангелие от Марка, 4:22

Глава 1. Таинственный «И»



Сумерки легли на Петербург, и в кабинете Лаврова зажегся свет — не резкий электрический, а тёплый, спокойный. На столе стояла керосиновая лампа под матовым стеклянным колпаком: её пламя ровно лизало фитиль, и свет ложился на бумаги жёлтым пятном.

На стене висел электрический выключатель — новая медная пластина, установленная по распоряжению начальника штаба, но Лавров редко к нему прикасался: электричество в здании было капризным, а керосиновая лампа давала ровный, привычный свет.

Ротмистр Владимир Николаевич Лавров сидел в своём кабинете так, будто и не собирался никуда уходить — будто сам этот угол здания Главного управления Генерального штаба был его крепостью, его передовой линией фронта. За окнами, закрытыми плотными портьерами шумел Петербург, но сюда, в эту комнату с тяжёлой тишиной и запахом сургуча и старой бумаги, уличный гул доходил лишь глухим эхом, неспособным нарушить сосредоточенность.

Ротмистр Лавров совсем недавно 4 июня 1903 года приказом № 63 по Отдельному корпусу жандармов был переведен в распоряжение начальника Главного штаба русской армии и возглавил разведочное — именно такое название фигурирует в документах того времени отделение Главного управления Генерального штаба (ГУГШ).

Перед Лавровым, аккуратно разложенные в хронологическом порядке, лежали агентурные донесения и материалы перлюстрации. На столе царил строгий канцелярский порядок. С левой стороны покоился увесистый журнал регистрации входящих и исходящих бумаг, сшитый в коричневый коленкоровый переплет, с пронумерованными страницами, на которых уже плотным почерком секретаря были внесены первые записи. Справа громоздились папки с четкими индексами: «А-1» (Агентурные сообщения), «Н-3» (Наружное наблюдение), «П-5» (Перлюстрация). К каждой папке был приколот номерной ярлык, а на корешке — сургучная печать, лишающая доступа посторонних. Чуть поодаль лежали стопки чистых бланков: с угловым штампом «Разведочное отделение при Главном Штабе», с грифом «Секретно» и «Весьма секретно». Здесь же стояла чернильница, о которую Лавров привычным жестом поправил ручку, и несколько сургучных палочек разных цветов: красный для особой важности, черный для обычных депеш.

Он задержал взгляд на последнем листке — том самом, что был перехвачен утром. «Буду на другой день, то же время. Ваш И.» Почерк — сдержанный, без излишних завитушек, но с характерным нажимом на окончания букв, выдающим привычку писать быстро. Бумага — простая, верже, без водяных знаков, купить можно в любой лавке. Конверт — самый обычный. Содержания в нём — кот наплакал. Но именно в этой скупости и крылась его ценность. За этой скупостью — Личность.

Дверь открылась без стука — так заведено у своих. В кабинет вошёл штабс - ротмистр Павел Андреевич Зыков, высокий, жилистый, с лицом, на котором усталость соседствовала с живым интересом ко всему, что происходит. Он был из бывших жандармских следователей: умел слушать не только слова, но и интонации, умел замечать, когда человек отводит взгляд. В его движениях чувствовалась усталость, но не расслабленность.

— Разрешите доложить, ваше благородие, — произнёс он, вытянувшись в струнку, но Лавров мотнул головой в сторону стула. Он чуть наклонил голову, не отрывая взгляда от бумаг.

— Докладывайте, Павел Андреевич.

Штабс-ротмистр Зыков положил на стол тонкую папку с пометкой «Н-3/Акаси».

— Докладываю по результатам наблюдения за японским военным агентом, подполковником Акаси. Наружка работает без перерыва, как вы и приказали. Акаси — птица серьезная. Работает усердно, как мы и отмечали: его замечают снующим по городу и заглядывающем в английское посольство. Ничем не брезгует, собирает информацию по крохам.

Зыков развернул схему, которую принес с собой, и ткнул пальцем в несколько отмеченных крестиками точек.

— Вчера, двадцать шестого декабря, на адрес японской миссии было получено письмо, мы перлюстрировали его, — Зыков указал на листок перед Лавровым. — Как видите, коротко и без подписи. Только «Ваш И.».

Лавров молча кивнул. Он уже знал содержание.

— Но самое интересное, — продолжил Зыков, понизив голос, — что сегодня утром наши на почтамте перехватили новое письмо. Адресовано не самому Акаси, а его сотруднику, майору Тано. Содержание практически идентично: «Завтра в 4 часа буду у Вас. Ваш предан. И.». Почерк совпадает полностью. Конверт тот же.

На мгновение в кабинете воцарилась тишина. Слышно было только, как за окном шуршит по мокрой брусчатке ветер.

Лавров откинулся на спинку стула, соединив кончики пальцев в домик. Он не смотрел на Зыкова, его взгляд был устремлен куда-то сквозь стол, в самую суть этой загадки.

— Майор Тано, значит, — медленно проговорил он. — Акаси, понимая, что за ним ведут наблюдение, отдает распоряжения через подчиненного. Тонкая работа. Но у нас есть зацепка — этот «И.». Буква, а не фамилия. Кто бы это мог быть?

— Агент? Посредник? — предположил Зыков.

— Возможно. Но кто? Офицер, судя по всему. У Акаси не было встреч с теми, кого мы знаем. Но Тано… На его квартире по субботам появляется некий русский офицер. Мы его пока не установили, но будьте покойны, обязательно установим.

Лавров взял со стола чистый лист бумаги и карандаш. Он начал писать быстро, мелким, разборчивым почерком.

— Павел Андреевич, план действий такой.

Лавров пододвинул лист к Зыкову

Перлюстрация. С сегодняшнего дня мы ставим на контроль всю корреспонденцию, идущую в адрес не только Акаси, но и Тано, и других японцев, которые часто общаются с миссией. Я направлю срочный рапорт в Департамент полиции с просьбой о расширении перлюстрации на почтамте. Наружное наблюдение. Завтра, в четыре часа, у квартиры Тано должна быть усиленная группа. Они не должны упустить этого «И.» ни на секунду. Пусть зафиксируют: одежду, время прибытия, способ перемещения (извозчик, экипаж), возраст, комплекцию. При этом — соблюдать дистанцию, не спугнуть. Задача — установить личность, а не арестовывать.

Агентурная разработка. Я направлю запрос в Департамент полиции — пусть проверят по своим спискам всех штаб-офицеров, кто мог бы быть в контакте с Тано. Особо обратить внимание на тех, кто живет не по средствам или имеет проблемы с игорными долгами. Такие люди — самая удобная добыча для вражеской агентуры. Зыков внимательно слушал, иногда кивая. Когда Лавров закончил, он взял лист и аккуратно сложил его и сунул в карман кителя.

— Владимир Николаевич, а что, если «И.» — это не русский? — спросил он. — Вдруг это кто-то из европейских агентов, действующих через Акаси?

— Исключено, — твердо ответил Лавров. — Почерк — русский. Буквы «И» — он пишет с характерным росчерком вверх. Это наш, доморощенный предатель.

— И ещё: пусть агенты на почте обратят внимание на тех, кто регулярно отправляет письма в консульские адреса. Не обязательно в японское. Если он работает не только с Акаси, следы могут быть и в других местах.

— Принято, Владимир Николаевич. Как только личность будет установлена — сразу к вам.

Он встал, но Лавров жестом задержал его. Ротмистр повернулся.

— И еще, … а впрочем всё, это я так, …это потом — добавил Лавров.

Зыков снова кивнул, на этот раз с пониманием, и бесшумно вышел. Лавров остался один в тишине кабинета. Где-то вдалеке, за стенами Главного штаба, Петербург жил своей обычной жизнью, не подозревая, что прямо сейчас решается судьба большой тайной игры. Он снова взял перехваченное письмо. «Ваш И.». Завтра, в четыре часа, они увидят этого «И.» воочию. И тогда сеть начнёт затягиваться.

Глава 2. Путь в контрразведку

Когда дверь за Зыковым закрылась, Лавров поднялся со своего места и с наслаждением потянулся. Затем прошел к кожаному дивану в углу кабинета, расстегнул китель и с наслаждением улегся, положив голову на округлую кожаную спинку. Он прикрыл глаза от усталости и мысли потекли плавно, выстраиваясь в стройный ряд воспоминаний.

В июне 1903 года в приёмной начальника Главного Управления Генерального Штаба (ГУГШ) было душно: окна приоткрыты, но воздух стоял тяжёлый, пахло нагретым сукном и пылью с карнизов. Лавров ждал, стараясь не смотреть на часы. Вызвали без объяснений, и это всегда хуже любого упрёка.

Когда его наконец пригласили, он вошёл и увидел, что генерал-лейтенант Сахаров не сидит в позе судьи за массивным столом, а стоит у окна, чуть наклонив голову, будто прислушивается к городу. Услышав шаги, он повернулся, и лицо у него было не строгое, а скорее усталое — и оттого настоящее. Это был

высокий, грузный, с седой, аккуратно подстриженной бородкой и умными, немного усталыми глазами человек. Он обогнул стол и подошел к Лаврову. Вместо того чтобы принять рапорт, он взял его под руку и повел к креслам у журнального столика, на котором стоял графин с водой и два бокала.

Кабинет генерала был просторным, с высокими окнами, выходящими на Дворцовую площадь, залитый утренним светом. Пахло дорогим табаком и полированным деревом. Стены были увешаны картами — Европы, Азии, Дальнего Востока.

— Садитесь, Владимир Николаевич, — сказал Сахаров голосом, в котором слышалась не только привычная командная твёрдость, но и усталое радушие. — Не стоит стоять. Разговор будет долгим.

Лавров присел на краешек стула, сохраняя выправку, будто даже в этой тихой комнате штаба ему надлежало держать строй. Сахаров налил воды из хрустального графина, но пить не стал — лишь провёл пальцем по запотевшему боку бокала, словно проверяя, не остыл ли мир за эти последние месяцы. Он поставил бокал на столик и, пройдя к одному из окон, заложил руки за спину.

Несколько мгновений он смотрел на площадь, на серое петербургское небо, на суету экипажей и прохожих, мелькавших, как фигурки в небрежно встряхнутой шкатулке. Внизу жизнь текла своим чередом: кучера покрикивали, дамы в накидках торопились к магазинам, мальчишки-газетчики выкрикивали заголовки, ещё не ведая, что эти строки скоро станут сухими сводками потерь. Генерал будто хотел запомнить эту обыденность — чтобы потом, в часы бессонных ночей, возвращаться к ней мыслью, как к чему - то безвозвратно ушедшему.

Затем, не поворачиваясь, он произнёс:

— Грустные времена, Владимир Николаевич. Война не за горами, и война эта будет, скорее всего, с Японией. Мы отдаём себе в этом отчёт. И хуже всего то, что мы видим её приближение и всё равно не успеваем.

Он наконец обернулся, и в его взгляде не было ни пафоса, ни театральной тревоги — только холодная, выстраданная ясность человека, который слишком много знает и слишком мало может изменить.

— Слушайте внимательно, Лавров. Сейчас я набросаю вам картину, чтобы вы понимали, с чем вы столкнетесь.

Сахаров подошёл к стене, на которой висела карта Дальнего Востока.

— На рубеже веков эпоха Мэйдзи подарила Японии не только заводы и железные дороги — она подарила ей стальной хребет. Японцы учились у лучших: у англичан, у немцев, у аме-

риканцев. Их флот, выстроенный по западным образцам, — стал вызовом. И вызов этот обращён теперь к нам.

Генерал помолчал, давая словам осесть в сознании ротмистра.

— Для русских моряков Дальний Восток давно уже стал полем напряжённой игры. Ещё недавно японские порты служили зимней стоянкой для кораблей Тихоокеанской эскадры, и саму Японию мы считали если не союзником, то по крайней мере удобным соседом, с которым можно ладить. Карты тогда лежали на столе иначе. Но теперь они переменились — и переменились так стремительно, что многие из нас до сих пор не могут поверить, что мы вдруг оказались по разные стороны баррикад.

Сахаров провёл пальцем по карте, и Лавров машинально проследил за этим жестом, словно пытаясь запомнить линию фронта, которая ещё не появилась на бумаге

— Победа Японии над Китаем в 1894 – 1895 годах и Симоносекский договор сулили Токио контроль над Ляодунским полуостровом. А это, Лавров, не просто клочок суши на краю карты. Это ключ к Жёлтому морю, к самым важным морским путям региона. Такой приз был слишком лакомым, чтобы его отдали без борьбы. И мы не отдали. Тройственная интервенция: Россия, Франция, Германия — заставила Японию вернуть полуостров Китаю. На бумаге это выглядело как дипломатическая победа, и газеты тогда ликовали. Но в реальности это стало первым ударом колокола, возвестившим о грядущей буре.

Сахаров отошёл от карты и снова остановился у окна, будто ища в сером небе ответы на вопросы, которые некому было задать.

— А уже через несколько лет мы сами заняли такую же позицию, как и Япония в 1894 году. В девяносто восьмом году Ляодун перешёл к нам в аренду, а Порт-Артур стал и является до сих пор главной базой русского флота на Тихом океане. Казалось, мы перехватили инициативу. Но история не любит самоуверенности. Она наказывает за поспешные выводы.

Он вернулся к столу и оперся на него ладонями, наклонившись чуть вперёд, так что тень от настольной лампы легла на его лицо резкими, угловатыми линиями. Он буквально впился глазами в лицо Лаврова:

— Заметьте, ротмистр, я говорю с вами предельно откровенно, без обиняков, так сказать. Во время подавления боксёрского восстания наши войска вошли в Маньчжурию под предлогом наведения порядка. И вроде бы всё было оправдано: хаос, угроза нашим интересам, необходимость защитить КВЖД. Но выход из Маньчжурии затянулся. Обещания очистить территорию к апрелю тысяча девятьсот третьего года, данные по договору тысяча девятьсот второго, мы так и не выполнили. Мы застряли там, сами того не желая, и тем самым дали Токио лишний повод считать нас угрозой.

В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь тихим тиканьем напольных часов в углу — ровным, неумолимым, будто отсчитывающим последние спокойные мгновения. Лавров всё никак не мог взять в толк, зачем генерал читает ему эту лекцию. Где он, ротмистр Лавров, а где та самая далёкая Япония, Манчжурия и Ляодунский полуостров. Какое отношение всё это имеет к нему, ротмистру Отдельного корпуса жандармов? Лавров хотел было переспросить, но генерал поднял руку, останавливая его, и продолжил:

— Одновременно в Петербурге набирает силу линия Безобразова. Эти люди твердят о необходимости усиления российского влияния в Корее. А Корея для японцев — не просто соседняя страна. Это их естественный тыл, их опора, их щит. И когда мы начали давить там, мы не просто наступили японцам на мозоль — мы ударили в самое уязвимое место. (***Примечание автора*** - «Линия Безобразова» — это авантюристический и агрессивный внешнеполитический курс России на Дальнем Востоке в начале XX века, инициированный статс-секретарем Александром Михайловичем Безобразовым и его окружением. Этот курс, в конечном счёте, и привёл страну к Русско-японской войне 1904–1905 годов)

Голос генерала стал тише, но от этого прозвучал ещё весомее:

— Летом тысяча девятьсот третьего года начались переговоры о разделе сфер влияния. Но стороны говорили на разных языках. Россия хочет застолбить Маньчжурию за собой и ограничить Японию в Корее. Токио же требует гарантий и не желает уступать ни пяди. Когда дипломатические формулы исчерпали себя, переговоры превратились в гонку за временем. И в этой гонке мы проигрываем, да и, можно сказать, проиграли, чего уж там. Япония первой завершила подготовку флота. И, сочтя момент подходящим, просто прекратила диалог. Они хотят вытеснить нас из Маньчжурии... нет, не вытеснить — уничтожить наши позиции

Сахаров выпрямился, и в его фигуре снова проступила привычная военная стать, будто он надел мундир поверх усталости.

— А Русский Дальний Восток на сегодняшний день остался в состоянии полуготовности. У нас есть корабли, гарнизоны, остаются планы. Но нет единства, нет чёткой стратегии, нет скорости. И это обстоятельство, Лавров, вскоре станет роковым. Очень скоро. Возможно, даже раньше, чем мы успеем осознать всю глубину угрозы.

Он помолчал, глядя прямо на ротмистра, и в этом взгляде читался не упрёк, а скорее просьба понять и запомнить.

— Теперь вы знаете, в какую игру вам предстоит вступить. Здесь не будет места для красивых слов и пустых надежд. Здесь считают дни, часы, а порой и минуты. И сейчас эти минуты бегут особенно быстро.

— Ваше превосходительство, прошу простить меня, но я не понимаю, при чём тут я, офицер ОКЖ (Отдельный корпус жандармов)? — Попытался было вставить ротмистр. Но генерал словно не слышал его, он пропустил реплику Лаврова мимо ушей и продолжал с настойчивостью ментора читать лекцию о положении в мире.

Он вернулся к столу, но не сел, а уперся кулаками в столешницу, глядя сверху вниз на Лаврова.

— Вы, полагаю, знаете, что японцы — нация с душой самурая, но с методами, заимствованными у наших же европейских «союзников»? — Сахаров взял со стола какую-то телеграмму. — Вот, взгляните. Только что от нашего военного агента в Пекине. У японского генштаба аврал. У них разработана программа усиления армии на семь лет, но они не будут ждать семь лет. Они начнут раньше. Может быть, в следующем году. Они хотят вытеснить нас из Маньчжурии и Кореи. А за ними — толпа европейских хищников, которые только и ждут, когда мы ослабеем. — Сахаров сделал паузу и пронзительно посмотрел на Лаврова. — Им, понимаете, очень мешает наша Россия. Я ещё раз повторяю, эта война… Война с Японией неизбежна, Владимир Николаевич. Я в этом не сомневаюсь ни на минуту и хочу, чтобы вы тоже прониклись этой мыслью и осознали всю серьёзность момента.

Лавров молчал, продолжая недоумевать, но в то же время впитывал каждое слово генерала, справедливо полагая, что в конце концов Сахаров объяснит ему, зачем его пригласили в Штаб, ну не за тем же, в самом деле, чтобы выслушать лекцию.

Сахаров резко повернулся и хлопнул ладонью по столу, но не гневно, а скорее для того, чтобы подчеркнуть значимость своих слов.

— И вот представьте, — продолжал он, — когда мы с ними столкнемся, они будут знать о нас всё. А мы — ничего. У них разведка поставлена на европейский манер. У нас же — беспомощность. Жандармы, … успокойтесь, — он махнул рукой в сторону Лаврова, — это не относится к вам лично, я знаю вас, знаю ваш отдел, вы — лучшие из лучших, в этом у меня сомнений нет. Но жандармское ведомство не предназначено для войны. Оно решает другие задачи. А контрразведка это — совсем иная наука.

Тогда он наконец налил себе воды и сделал глоток. Лавров заметил, что рука генерала чуть дрогнула.

— Я лично докладывал Государю, — продолжил Сахаров. — Я говорил ему, что в условиях, когда на нас готовятся напасть, мы должны создать специализированную структуру —

Разведочное отделение при Главном штабе. Орган, который будет заниматься сбором сведений о противнике и, что еще важнее, пресечением работы вражеской агентуры на нашей территории. Генерал-адмирал поддержал меня. Государь дал высочайшее соизволение. — Сахаров повернулся к Лаврову и впервые за весь разговор улыбнулся, но улыбка была суровой, безрадостной. — И знаете, Владимир Николаевич, кто будет первым начальником этого Отделения? Вы.

Лавров почувствовал, как под мундиром выступила испарина. Он знал, что такое брать на себя ответственность за жизни людей. Но чтобы за тысячи — это было ново, он слегка приподнял бровь. Сахаров заметил это и одобрительно кивнул.

— Я понимаю ваше удивление, — сказал он, возвращаясь в кресло напротив Лаврова. — Вы — жандарм, ваш опыт — внутренняя борьба с крамолой. Но именно поэтому вы мне и нужны. Вы знаете, как работают тайные общества. Вы знаете менталитет революционеров. Вы провели блестящую операцию на Кавказе, раскрыли сеть персидских агентов. Вы — блестящий аналитик, человек, который умеет соединять разрозненные факты в целостную картину — словно мозаику.

Он замолчал, собираясь с мыслями. Слышно было, как на площади далеко внизу цокают копыта.

— И есть еще одно обстоятельство, — добавил Сахаров, понизив голос, — более деликатное. Там, наверху, — он повел глазами в потолок, — многие считают, что жандармы — это слишком «полицейская» структура. Слишком видимая. Если мы создадим отделение в составе Генерального штаба, это даст нам возможность действовать скрытно, не привлекая внимания министерства внутренних дел. Мы сможем работать, не оглядываясь на бюрократические проволочки.

Лавров наконец позволил себе сказать:

— Ваше превосходительство, я понимаю всю сложность положения. Но позвольте спросить: какие первоочередные задачи вы ставите перед Отделением?

Сахаров откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди.

— Первое и главное, Владимир Николаевич, — борьба со шпионажем на территории Империи. Вы должны выявлять всех иностранных агентов, в настоящее время в первую очередь японских, их пособников, их связи с нелояльными элементами — с теми же эсерами, поляками, финнами. Японцы уже сейчас ведут среди них агитацию. Они — мастера использовать чужое недовольство для ослабления противника. Вы должны перекрыть им все пути. Он наклонился вперед:

— Второе — сбор сведений о Японии. Ее армии, флоте, планах. Мы должны знать, когда они нападут и где. Мы должны иметь свою агентуру в их посольствах, в их торговых миссиях. Все, что вы сможете добыть — карты, шифры, диспозиции — будет бесценно.

И, наконец, третье, на что я прошу вас обратить особое внимание. — Сахаров встал и подошел к большой карте Империи, висевшей на стене. — Это — поставки оружия. Японцы будут стараться дестабилизировать нас изнутри. Они будут вооружать революционеров, сепаратистов. Ваше отделение должно не только выявлять шпионов, но и перехватывать каналы поставок. Это — вопрос не просто победы на войне, это вопрос выживания государства.

Он снова повернулся к Лаврову. В его глазах читалась усталость, но и несгибаемая решимость.

— Вы спросите, почему именно вы? — Сахаров подошел вплотную. — Я отвечу. Вы не из тех, кто ищет славы. Вы не карьерист. Вы — профессионал. И наконец, — он едва заметно улыбнулся, — вы из тех, кто умеет молчать. А в нашем деле это, пожалуй, — главное достоинство.

Он протянул Лаврову сложенный приказ с царской резолюцией.

— Приступайте, Владимир Николаевич. Время играет против нас. Через год, я чувствую, будет слишком поздно. Приступайте. И помните: от ваших успехов зависит жизнь тысяч русских солдат и матросов, которые пойдут в бой. Не оплошайте.

Лавров взял приказ, поднялся и щелкнул каблуками.

— Служу Государю и Отечеству, ваше превосходительство.

Сахаров тяжело вздохнул, кивнул и махнул рукой, отпуская Лаврова.

— Идите.

Мысли Лаврова начали путаться, его накрывала волна дремоты и прежде, чем провалиться в глубокий сон, в его мозгу опять настойчиво мелькнул вопрос:

— Да кто же ты такой «И», черт бы тебя побрал…

Глава 3. Дом Кэндзи Тано

К обозначенному времени, к четырём часам пополудни, дом майора Кэндзи Тано, подданного Микадо, на Английской набережной, дом 18, был плотно обложен агентами наружного наблюдения. Декабрьский Петербург дышал в лицо ледяной моросью и колючим снегом. Влажный, пронизывающий ветер с Невы забирался под все шубы, превращая тепло в призрачную роскошь. Сапоги скользили по накатанному льду тротуаров, а пальцы, даже в меховых перчатках, немели уже через несколько минут. Штабс-ротмистр Зыков задействовал лучших филёров, так называемый “золотой состав”: Александра Зацаринского, Анисима Исаенко, Михаила Воронова, Александра Харитонова, Александра Зайцева и Николая Трофимова. Каждый занял свой сектор, и расстановка была продумана так, чтобы ни один выход из дома не остался без присмотра, но при этом агенты не бросались в глаза и не создавали подозрительного оживления.

За Николаевским мостом, в розвальнях с поднятым верхом, расположился Александр Зацаринский. Он был загримирован под извозчика-лихача, продрогшего до костей и кутающегося в потертый тулуп. Напротив, в полумраке подворотни соседнего дома, застыл Анисим Исаенко. Он изображал дворника - татарина, ссутулившегося над метлой. Его мощная спина была прикрыта брезентовым балахоном, из-под которого торчала рукоять метлы. Чуть дальше, у торца здания, Михаил Воронов приткнулся с деревянным ящиком-верстаком, изображая вечно пьяного сапожника-ремонтника, укрывшегося от ветра в нише стен; его главной задачей был проходной двор и черный ход.

На противоположной стороне набережной, у парапета, Александр Харитонов смешался с толпой редких прохожих, держа под мышкой свернутый ковер — он должен был фиксировать верхние окна. Александр Зайцев и Николай Трофимов работали в связке, держась в пятидесяти шагах, постоянно меняя темп ходьбы.

Филеры переносили эту адскую погоду с угрюмой стойкостью профессионалов: Зацаринский то и дело сплевывал в снег, проклиная всё на свете сквозь зубы, но глаза его оставались цепкими. Исаенко мелко перебирал ногами в валенках, чтобы не окоченеть совсем, но спина его была пружиной, готовой распрямиться в любой момент. Воронов симулировал пьяную дрожь, хотя на самом деле дрожал от холода, но ящик с инструментами держал намертво, не давая ему опрокинуться.

И ровно в шестнадцать часов, как по расписанию, из утренней дымки возник силуэт.

Это был мужчина лет сорока пяти — пятидесяти. Его возраст выдавала благородная седина, тронувшая виски, и усталая складка у губ. Лицо его казалось аристократично бледным, но в походке чувствовалась та особая выправка штабного офицера, которую не скрыть ни плащом, ни утомлением. Он не оглядывался, не проверялся, шел, как к себе домой, — и это насторожило Исаенко больше, чем если бы он заметал следы.

Дверь особняка отворилась прежде, чем офицер коснулся ручки. Швейцар, грузный мужчина в ливрее, привычным жестом пропустил гостя внутрь, даже не взглянув на него. Дубовая дверь тяжело захлопнулась, отсекая тепло и уют от промозглой улицы.

Прошло полтора томительных часа. За это время филеры успели дважды сменить позиции, имитируя естественное движение.

Когда стрелка часов перевалила за половину седьмого, дверь снова открылась.

На улице уже темнело, и газовые фонари зажигались один за другим, бросая на мокрый тротуар неровные жёлтые пятна света. Он вышел так же спокойно, как и вошёл, не торопясь, не оглядываясь, будто визит был обычным делом, не требующим ни тревоги, ни спешки.

В работу вступили филёры: незаметно, без суеты, они подхватили слежку, передавая друг другу наблюдение так плавно, что со стороны это выглядело как простая случайность — просто несколько прохожих, идущих в одном направлении.

Анисим Исаенко, держась на достаточном расстоянии, следил за тем, чтобы не потерять фигуру в сгущающихся сумерках, а Александр Зайцев и Николай Трофимов, выйдя из прохода, замкнули кольцо, страхуя возможные попытки свернуть в боковые улицы. Маршрут оказался прямым: офицер не делал лишних остановок, не заходил в магазины и не задерживался у витрин. Путь его лежал через Марсово поле, мимо Летнего сада, до набережной Фонтанки.

Рапорт старшего филёра Анисима Исаенко ротмистру Лаврову

Секретно

Начальнику Разведочного отделения при Главном штабе

ротмистру Лаврову В.Н.

Рапорт

Доношу Вашему Благородию о результатах наружного наблюдения, произведённого сего числа, декабря месяца, за особняком майора Кэндзи Тано, подданного Японии, находящимся на Английской набережной, дом 18.

К четырём часам пополудни объект наблюдения появился и проследовал к парадному входу означенного дома. Внешность объекта: мужчина лет сорока пяти, роста выше среднего, сложения крепкого, осанка прямая. Лицо строгое, черты резкие, седина на висках едва заметна. Взгляд спокойный, собранный.

Объект, именуемый в дальнейшем «Хмурый», наружного наблюдения за собой обнаружить не пытался.

В 16 часов 04 минуты «Хмурый» вошёл в парадную дверь особняка Тано, где был встречен швейцаром по фамилии Осипов, служащим здесь более 5 лет, что подтверждено агентурной справкой.

Далее: выход «Хмурого» состоялся в 17 часов 35 минут. С этого момента я закрепился за объектом в качестве ведущего.

Маршрут «Хмурого» пролегал в следующем направлении: от Английской набережной через Большой проспект на Малую Морскую улицу, далее через Марсово поле (гололёд, скорость ходьбы снижена), и по набережной Лебяжьей канавки с выходом на набережную Фонтанки.

В ходе движения объект совершил одну незапланированную остановку у табачной лавки на углу Царицынской, где приобрёл коробку папирос «Герцеговина Флор», что было проверено мною путём опроса лавочника, коему я предъявил удостоверение. Покупка была произведена за мелкую монету, с продавцом «Хмурый» обменялся лишь двумя дежурными фразами о погоде, что указывает на отсутствие агентурной встречи на данном этапе.

Подойдя к дому № 37 по набережной реки Фонтанки, «Хмурый» повернул в подворотню и, не оглядываясь, проследовал во внутренний двор. Там мною было установлено, что «Хмурый» проследовал в третий подъезд (парадная с чугунной лестницей), и в окнах третьего этажа, в квартире 11, спустя три минуты зажегся свет , сначала в гостиной, затем в кабинете.

Адрес постоянного проживания объекта, таким образом, установлен точно: набережная Фонтанки, дом 37, кв. 11.

Здесь «Хмурый» проявил повышенную осторожность: дважды подходил к окну, раздвигая шторы, однако, видимо, не обнаружив ничего подозрительного, успокоился.

На этом этапе мною был оставлен для дальнейшего стационарного наблюдения филёр Трофимов, а остальной состав возвращён на базу.

В 20 часов 15 минут при возвращении я произвёл оперативный сбор данных. На основаниu этого докладываю: сего числа служба установки определила личность наблюдаемого «Хмурого», проходящего по делу майора Тано, — штаб-офицер Управления генерал-квартир-

мейстера штаба Санкт-Петербургского военного округа, господин подполковник Ивашов Константин Аристархович.

Доклад закончил. Записано верно, переписано набело.

Старший филёр Анисим Исаенко

Декабря месяца, такого-то числа

г. Санкт-Петербург

Лавров дочитал рапорт до конца, кончиком карандаша подчеркнув фамилию «Ивашов». Затем перевел взгляд на план города у себя на столе, отмечая циркулем расстояние от Фонтанки до Английской набережной.

— Хорош гусь, — тихо сказал он, растягивая «о». — Русский штаб-офицер на жалованье у японской разведки. — Затем повернулся к Зыкову, доставившему рапорт старшего филера. — Павел Андреевич, мы должны знать об Ивашове всё, … абсолютно всё, вплоть до его привычек и распорядка дня, понятно?

— Так точно, Владимир Николаевич, будет исполнено.

Глава 4. Беседа в сумерках

Гостиная майора Тано в квартире на Английской набережной, была выдержана в том особом евро - азиатском эклектичном стиле, который так любили состоятельные японцы, долго жившие в Европе и, привыкшие к роскоши, но презирающие показную пышность. Стены, обитые тёмно-зелёным штофом, приглушали звуки, делая комнату похожей на нутро дорогой шкатулки. Тяжёлые портьеры были задвинуты плотно, хотя за окнами уже сгустились декабрьские сумерки, и в щель между ними пробивался лишь тусклый отсвет уличных фонарей, безнадёжно тонущий в толще стекла.

Единственным источником света служила бронзовая лампа под абажуром из рисовой бумаги, отбрасывавшая тёплый, приглушённый полумрак на полированный стол красного дерева. У камина, в котором уютно потрескивали берёзовые дрова, стояли два глубоких кресла с высокими спинками, располагавшие к долгой, обстоятельной беседе. На столике между ними дымился фарфоровый чайник с зелёным чаем, пар от которого тонкой струйкой вился к потолку, смешиваясь с ароматом сандаловых палочек, тлевших в серебряной курильнице на каминной полке.

Подполковник Ивашов сидел в кресле, выпрямив спину, но его поза выдавала напряжение. Напротив него, расположился хозяин дома.

Кэндзи Тано, потомок древнего самурайского рода, считавшего своей прародительницей саму Аматэрасу — великую богиню солнца, в эти вечерние часы позволил себе ту роскошь, которую в Петербурге мог позволить лишь в стенах собственного дома. Он был облачён в традиционное кимоно из тёмно-синего шёлка, расшитое серебряной нитью с изображением летящих журавлей — символом долголетия и стойкости. Обильный пояс оби, повязанный сложным узлом, стягивал талию. Кимоно это, в отличие от европейского сюртука, который он носил на людях, давало ему ту степень свободы, которую японец ценил превыше прочего — свободу движения, свободу дыхания, свободу оставаться собой.

Голос Тано был текучим и мягким, как струя зелёного чая, льющегося из фарфорового носика. Он говорил по-русски с едва заметной певучей интонацией, которая делала его речь почти гипнотической.

— Я бесконечно ценю вашу пунктуальность, Константин Аристархович, — начал он, делая лёгкий полупоклон, сидя на месте, что было высшей формой вежливости в его культуре. — Погода в вашем прекрасном городе сегодня не располагает к прогулкам, и всё же вы пришли. Это достойно уважения.

Ивашов сдержанно кивнул, стараясь говорить твёрже, чем чувствовал.

— Дело есть дело, господин Тано. Благодарю за приглашение.

Тано улыбнулся — чуть заметно, одними глазами, и эта улыбка была тёплой, почти отеческой.

— Вы совершенно правы, говоря о деле. Тогда позвольте мне сразу перейти к сути. Увы, я должен сообщить вам пренеприятное известие. Полковник Акаси, с которым вы работали ранее, убыл из Санкт-Петербурга, дела, знаете ли… — Тано развёл руками с лёгким, почти извиняющимся жестом. — Отныне вы будете работать со мной.

Ивашов внутренне напрягся. Акаси был удобен — сухой, предсказуемый делец, который не лез в душу. Этот же Тано был другой породы. Слишком спокоен, слишком внимателен. От него исходила та особая, трудно уловимая уверенность человека, который привык получать желаемое не угрозами, а терпением и искусством убеждения.

— Я понимаю, — осторожно сказал Ивашов. — Но, позвольте заметить, наши договорённости с полковником Акаси были строго оговорены. Мне бы хотелось сохранить прежний формат. И, смею надеяться, прежние условия.

Тано мягко покачал головой, но в его жесте не было осуждения. Скорее — лёгкий, едва уловимый сарказм.

— Константин Аристархович, я понимаю вашу тревогу. Смена партнёра всегда вызывает беспокойство, особенно в нашем деле. Но позвольте мне быть с вами откровенным. — Он подался чуть вперёд, и в свете лампы его лицо, гладко выбритое, с тонкими усиками и чуть скошенными глазами, стало удивительно открытым. — Я же вижу в вас, господин подполковник, не просто поставщика информации. Я вижу союзника.

Тано сделал паузу, давая словам осесть в сознании собеседника, и продолжил, чуть наклонив голову:

— Между нами может установиться гораздо более глубокая связь. Я хочу, чтобы вы знали: мы с вами обязательно найдём общий язык. Я чувствую это.

Ивашов молчал. В этой мягкой настойчивости Тано было нечто такое …, которому он пока ещё не подобрал определения, но он прямо-таки почувствовал опасность, исходящую от японца. Тано не давил, он обволакивал, создавая иллюзию дружеского участия.

Японец взял со столика конверт из плотной крафтовой бумаги и, без лишней торжественности, положил его перед Ивашовым, на миг прикрыв глаза.

— Здесь две тысячи рублей.

Сумма прозвучала не как подарок, а как расчёт: ровно столько, сколько стоит эта работа, не больше и не меньше. Ивашов невольно сжал пальцы, будто хотел сразу схватить конверт, но сдержался, положил ладонь на колено, стараясь выглядеть спокойнее.

— Благодарю, — сказал он, но слово вышло сухим, почти чужим.

Тано снова чуть наклонил голову.

— Не за что. Это не милость. Это плата за труд. И вот ещё что, Константин Аристархович, — Тано молитвенно прижал обе ладони к груди, — будьте осторожны с деньгами, любое ваше неожиданное приобретение — новая шуба для любовницы, драгоценности для неё же — привлечёт внимание. Ваше жалование, если не ошибаюсь, составляет около пятисот восьмидесяти рублей в год. Две тысячи, как вы понимаете несколько больше. Поэтому, не сорите деньгами. Мы ценим вас и хотим, чтобы вы жили долго и спокойно.

— Но я полагаю, вы вызвали меня не только для того, чтобы сделать мне комплименты и передать гонорар.

Тано рассмеялся — тихо, мелодично, как журчание горного ручейка.

— Вы проницательны, господин подполковник. Именно поэтому вы нам и нужны. — Он взял чайник и наполнил обе чашки, двигаясь с плавной, почти танцевальной грацией. — У вас будет новое задание.

Он замолк на мгновение, и в тишине стал слышен лишь треск дров в камине. Затем Тано заговорил, и голос его, по-прежнему мягкий, приобрёл ту особенную отчётливость, с которой говорят о вещах, не терпящих двусмысленности.

— Нам нужен план частичной мобилизации Российской империи. Тот самый, что сейчас разрабатывается в штабе вашего округа. Сроки развёртывания дивизий, численность резервистов, призывные участки, дислокация частей второго эшелона.

Ивашов почувствовал, как ладони мгновенно покрылись холодным потом.

— Кроме того, — продолжил Тано, всё так же ровно, без повышения голоса, — нас интересуют данные по пропускной способности Транссибирской магистрали. Сколько эшелонов в сутки может пройти по главному ходу? Какие станции являются узловыми? Где возможны задержки? Нам нужны не предположения, а цифры. Точные, проверенные.

Ивашов хотел было возразить, что такие сведения добыть непросто, что они хранятся под особым грифом, что к ним нет свободного доступа, но Тано остановил его одним коротким жестом — не резким, не угрожающим, а просто завершающим разговор.

— Это не просьба, подполковник. Это приказ.

Повисла пауза. Ивашов растерянно смотрел на японца, словно выискивая в его лице насмешку. Но Тано был абсолютно серьёзен. Его глаза, тёмные и глубокие, смотрели на подполковника с терпеливым ожиданием, как смотрит учитель на ученика, которому предстоит самому найти решение задачи.

— Это… это сведения высшей степени секретности, майор и у меня нет доступа к ним.

— Я знаю, — Тано кивнул, и в его глазах вспыхнуло понимание. — Поэтому я и не спрашиваю, есть ли у вас доступ. Я спрашиваю вас, Константин Аристархович, как вы собираетесь его получить?

— Я… — Ивашов запнулся. Он действительно не знал.

— Я честно скажу вам, господин Тано, — выдохнул он. — Я пока не вижу возможности. Это не просто риск, это почти невозможно.

— Я в вас уверен, Константин Аристархович, если вы хорошо подумаете, то найдёте выход, только не торопитесь. Помните: осторожность и ещё раз осторожность, а также разумный риск.

— Он подался вперёд, и лицо его осветилось отблеском огня из камина. Тано улыбнулся.

— Константин Аристархович — сказал он, наливая новую чашку чая и протягивая её собеседнику с изящным поклоном. — Прежде всего успокойтесь. Вы просто ещё не думали, но я уверен, что решение есть. Мы всегда справляемся с тем, что кажется невозможным, надо только постараться.

Он отпил глоток чая, и в его позе сквозило спокойствие и уверенность.

— Неделя, Константин Аристархович. У вас есть только одна неделя.

Ивашов встал, чувствуя слабость в ногах. Он был ошеломлён. В нём боролись страх и как ни странно, уверенность, что он сделает это. Видимо Тано внушил-таки ему это чувство.

— Я… я попробую, — выдавил он.

Тано встал следом, легко, бесшумно, как тень. Его кимоно мягко струилось при движении.

— Не попробуете, — сказал он, кладя руку на плечо Ивашову. — А сделаете. Уверен, у вас всё получится. До встречи через неделю.

Он проводил подполковника до двери. Когда шаги Ивашова затихли в коридоре, Тано вернулся в кресло, поправил складки кимоно и взял в руки маленький блокнот, в котором уже начал делать пометки. На его лице не было ни торжества, ни волнения. Только сосредоточенная, спокойная уверенность мастера.

Глава 5. Наедине с собой

Усилившийся к вечеру мороз хлестнул в лицо, едва Ивашов шагнул за дверь квартиры майора Тано. Он ожидал, что холод освежит, развеет липкую духоту чужой тишины, но вместо этого воздух только осел на груди тяжёлым, колючим плащом — дышать стало ещё труднее.

Он спустился по лестнице, не глядя под ноги, механически придерживаясь за холодные перила. В кармане лежал конверт — ровный, твёрдый, будто вырезанный из железа. Две тысячи рублей. Сумма, которая ещё два года назад казалась немыслимым спасением, а теперь ощущалась как печать на приговоре.

Он замер на мгновение, нашаривая в кармане шинели портсигар. Пальцы дрожали — мелко, противно, по-мальчишески. Ивашов ненавидел в себе эту дрожь, но ничего не мог с ней поделать. Он сунул папиросу в рот, чиркнул спичкой — ветер тут же погасил огонёк. Со второй попытки удалось прикурить, и он жадно затянулся, чувствуя, как горький табак смешивается с ледяным воздухом.

На улице уже окончательно стемнело, и Петербург накрыла та самая декабрьская тьма, когда фонари не столько разгоняют мрак, сколько делят его на жёлтые пятна и чёрные провалы. Ветер гулял по улице, швыряя в лицо колючую снежную крупу, и каждый её укол был как напоминание: он больше не просто офицер, он — как ни крути, предатель.

Ивашов шёл, не замечая ни извозчиков, ни прохожих, ни того, как город живёт своей обычной, равнодушной к нему жизнью. В голове стучало только одно: «План частичной мобилизации… пропускная способность Транссиба… срок до конца недели…» Цифры, термины, сроки — они звучали как приговор, и самое страшное было в том, что он не знал, где их взять.

«Дурак. Какой же я дурак…» — эта мысль билась в висках, назойливая и беспощадная, как набат. Он вспоминал тот вечер два года назад, когда всё и рухнуло: дымный зал, дрожащие карты в пальцах, чужие холодные взгляды, считающие его деньги — а вернее, то, что от них оставалось. Казенные деньги. Растрата. Преступление, за которое не бывает прощения. Он тогда метался по тёмным улицам, не зная, куда бежать, к кому кинуться, и в этой панике ухватился за первую же протянутую руку — за услужливую, руку Акаси.

«Мы можем помочь, подполковник. У нас есть способы всё уладить…» — так это тогда прозвучало. Не угроза, не шантаж — предложение спасения. И он, ослеплённый страхом, ухватился за него, как утопающий за соломинку. Только потом, когда подпись уже стояла на бумаге, а слова были сказаны, он понял, что соломинка эта была из стали — и держала не на плаву, а тянула на дно.

А сегодня Тано даже не повысил голоса, не стал давить. Он просто спокойно, буднично обозначил границу: «Это не просьба, подполковник. Это приказ». И от этой будничности становилось страшнее всего.

Ивашов остановился у витрины галантерейной лавки, не видя ни лент, ни перчаток, ни шляп за стеклом. В отражении он увидел себя — и не узнал: усталое лицо, посеревшее, с тёмными кругами под глазами. Ещё недавно он был уверен, что знает, кто он такой: русский офицер, человек чести, пусть и оступившийся. А теперь эта уверенность рассыпалась, как старый мундир по швам.

Он пытался прикинуть, к кому бы обратиться за нужными данными. И каждый вариант только затягивал петлю. Писарь? Слишком много знает, слишком внимательно смотрит. Сослуживец? Любой вопрос о пропускной способности Транссиба тут же вызовет пересуды. Даже случайная фраза, брошенная в курительной, могла стать той самой ниточкой, за которую потянут и вытянут всю паутину.

Но тут в голове вдруг мелькнула другая мысль — странная, почти спасительная в своей обыденности. Ведь если ему самому нужно будет легально получить эти данные, то для этого

есть самое естественное прикрытие: приказ начальства. Если генерал-квартирмейстер Раух сам поручит ему проверить пропускную способность Транссиба и сверить мобилизационные расписания с фактическими данными… Тогда он сможет спокойно ходить по канцеляриям, запрашивать папки, сверять цифры — и никто не подумает, что он делает это для японцев. Система сама даст ему в руки то, что нужно врагу.

От этой мысли Ивашову стало не легче, а только холоднее. Потому что она означала, что он уже не ищет способ выбраться из ловушки — он ищет способ сделать своё предательство незаметным.

Он снова двинулся вперёд, уже медленнее, будто ноги налились свинцом. Прохожие обтекали его, как вода обходит камень, кто - то даже буркнул что - то вслед, но он не разобрал слов. В голове теперь стучала не паника, а расчёт: «Завтра с утра пойду к Рауху. Попрошу задание. Скажу, что хочу разобраться в узких местах на Транссибе… что это важно для штаба…» Слова складывались в голове, как детали механизма, и от этой собранности становилось ещё страшнее: он уже не был жертвой обстоятельств — он сам готовил себе путь к отступлению.

Он не замечал филёров Лаврова. Анисима Исаенко, который чуть замедлил шаг, делая вид, что поправляет шарф, но не сводил с него глаз. Александра Зацаринского, который будто случайно оказался у газетного киоска, но взгляд его был направлен ровно туда, куда шёл Ивашов. Они держались на расстоянии, не приближаясь, не выдавая себя, и потому казались частью города — просто ещё двумя прохожими в серых пальто, на которых никто не обращает внимания.

А Ивашов шёл, погружённый в себя, в этот клубок вины, страха и горьких оправданий, которые звучали в его голове всё тише и неубедительнее. «Тогда мне было некуда деваться… Акаси просто спас меня…» — повторял он про себя, словно пытаясь убедить никого - то другого, а самого себя. Но совесть, упрямая и тихая, шептала: «А сегодня?».

До дома оставалось ещё несколько кварталов, но каждый из них казался ему длиннее предыдущего. Наконец он свернул в свой переулок, где фонари горели тусклее, а тени ложились гуще. Здесь, среди знакомых фасадов, он на секунду почувствовал себя чуть спокойнее — будто стены родного города могли хоть немного прикрыть его от того, что он сам на себя накликал.

Ключ повернулся в замке с привычным, чуть скрипучим звуком, который всегда казался ему звуком дома, уюта, покоя. Дверь закрылась за ним, отрезая уличный шум, ветер и чужие взгляды. В прихожей было тихо и пахло домом — обычные, спокойные запахи, которые раньше ничего не значили, а теперь казались почти чужими, как будто он вернулся в дом, где всё осталось прежним, а сам он стал другим.

Он снял пальто, повесил его на вешалку, провёл ладонью по лицу, стирая с кожи холод улицы и липкий след прошедшего дня. Потом прошёл в кабинет, сел в кресло у окна и долго сидел неподвижно, глядя, как за стеклом кружится снег, как медленно гаснут огни в соседних окнах, как город засыпает, оставляя его наедине с тем, что он успел натворить.

Глава 6. Утро лжеца

Ночь Ивашов почти не спал. Он ворочался на жесткой, неудобной кровати, то проваливаясь в тревожную дремоту, то снова выныривая в липкий утренний сумрак с ощущением, что сердце вот-вот остановится. Дважды он вставал, подходил к окну, раздвигал штору на палец и всматривался в туманную муть за стеклом: не мелькнет ли там чужой силуэт? Никого не было. Только пустая, заснеженная набережная да редкие прохожие, торопящиеся по своим делам.

К утру, когда серый декабрьский свет начал сочиться сквозь плотные портьеры, Ивашов понял: отступать некуда. Он либо сделает это сегодня, либо сломается, и тогда всё — разоблачение, суд, позорная смерть. Он заставил себя встать, умыться ледяной водой из кувшина и тщательно, даже тщательнее обычного, побриться. В зеркале на него смотрел осунувшийся, бледный человек с лихорадочным блеском в глазах, и Ивашов с удивлением заметил: в этом взгляде была не только усталость, но и странное, почти пугающее спокойствие. Спокойствие человека, который наконец принял решение.

Он оделся с той тщательностью, которая всегда отличала его на службе: белоснежное бельё, безупречно выглаженный китель, начищенные до зеркального блеска сапоги. Всё чинно, благородно, скромно

В штаб Петербургского военного округа он вошёл ровно в девять. Дежурный по коридору, молодой прапорщик, козырнул привычно, не задерживая взгляда.

Но сегодня всё было по-другому. Сегодня каждый шаг по паркету канцелярии отдавался в висках глухим эхом. Каждый взгляд дежурного казался подозрительным, каждый шелест бумаги — сигналом тревоги. Ивашов сжал кулаки, заставляя себя дышать ровно. «Ты обычный штаб-офицер, — твердил он себе. — Ты пришёл на службу, как и всегда. Ты не сделал ничего плохого. Пока не сделал».

Он поднялся на второй этаж, в приемную генерал-квартирмейстера. Дверь кабинета была приоткрыта, и оттуда доносился знакомый скрипучий, но энергичный голос Георгия Оттоновича Рауха, раздававшего указания адъютанту. Ивашов переждал, дождался, пока адъютант выскользнет с кипой бумаг, и только тогда постучал костяшками пальцев в дверь.

— Войдите!

Раух сидел за столом, в расстегнутом сюртуке — так он всегда работал по утрам. Перед ним лежала стопка донесений, а сбоку — карта железных дорог с пометками красным и синим карандашом. Он поднял глаза, чуть нахмурился, словно прикидывая, что могло привести к нему Ивашова в такую рань.

— Подполковник? Что-то срочное?

Ивашов шагнул вперёд, стараясь держаться прямо, но не слишком по-строевому — чтобы не выглядеть натянутым.

— Так точно, ваше превосходительство. Не то чтобы срочное… скорее, упреждающее.

Раух чуть наклонил голову, не перебивая. Это был его способ слушать: молчать и смотреть так, будто каждое слово нужно было взвесить, оценить.

— Видите ли, в последнее время я всё чаще натыкаюсь на разночтения в сводках. То по Челябинску одни цифры, то по Омску другие. И мне это не даёт покоя. Если вдруг начнётся переброска войск, а мы будем опираться на несогласованные данные… это может стоить нам дней, а то и недель.

Он сделал короткую паузу, давая словам улечься, и тут же подбросил следующий довод, заранее заготовленный:

— К тому же, на днях я случайно услышал разговор офицеров из Министерства путей сообщения. Они упоминали, что на участке Иркутск — Чита возможны задержки из - за

нехватки паровозов. И если это правда, нам нужно знать об этом сейчас, а не тогда, когда эшелоны встанут намертво.

Раух откинулся на спинку стула и постучал пальцами по столу — не нервно, а размеренно, будто отбивал ритм собственных мыслей.

— Выходит, хотите проверить пропускную способность Транссиба и сверить мобилизационные расписания с фактическими данными?

От того, что генерал сам сформулировал его просьбу, Ивашову на миг стало легче — и в то же время страшнее: теперь это звучало не как его личная инициатива, а как задача, которую штаб обязан решать.

— Именно так, ваше превосходительство. Если позволите, я бы провёл выборочную сверку по ключевым узлам: Челябинск, Омск, Иркутск. И сопоставил бы с расписаниями по первому и второму корпусам. Чтобы увидеть, где план расходится с реальностью.

Раух помолчал ещё несколько секунд, и в этой тишине Ивашов вдруг с ужасом и изумлением понял, насколько гладко у него выходит лгать. Слова не путались, доводы ложились ровно, как кирпичи в хорошую кладку. Он говорил ровно то, что должен был сказать офицер, озабоченный боеготовностью, и ни на йоту не выдавал, что за этой заботой стоит совсем другая цель.

«Как легко…» — мелькнуло у него в голове, и от этой лёгкости стало по-настоящему жутко.

Наконец Раух кивнул:

— Хорошо. Займитесь этим. Подготовьте справку к пятнице. И если найдёте серьёзные расхождения — сразу доложите, не ждите совещания.

— Слушаюсь, ваше превосходительство, — ответил Ивашов, снова стараясь, чтобы голос звучал ровно, без лишней поспешности.

— И ещё, — добавил Раух, уже возвращаясь к бумагам, — не гонитесь за мелочами. Мне нужны не все цифры подряд, а выводы: где мы уязвимы и что с этим делать.

— Будет сделано, — коротко бросил Ивашов и, сделав шаг назад, чётко развернулся и вышел, закрыв за собой дверь так же по-уставному ровно, как и вошёл.

Уже в коридоре он на секунду прислонился спиной к холодной стене. Пальцы слегка дрожали, но он сжал их в кулаки и спрятал в карманы.

«Легко…» — снова подумал он, и на этот раз в этом слове не было облегчения. Было только холодное, горькое понимание: он только что превратил свою ложь в служебное задание. Теперь каждый его шаг по канцеляриям, каждый запрос на папки, каждая выписанная цифра будут выглядеть как добросовестная работа на благо штаба. Никто не заподозрит подвоха, потому что всё будет по правилам.

Глава7. Мобилизационное отделение

Мобилизационное отделение штаба Петербургского военного округа помещалось в дальнем крыле массивного здания на Дворцовой площади. Путь от кабинета подполковника Ивашова до мобилизационного отделения был неблизким — и в этом была своя логика штабной архитектуры: важные службы разводили по разным крыльям, чтобы потоки людей и бумаг не пересекались без нужды.

Ивашов вышел из своего кабинета в офицерском коридоре, где пахло полиролью для паркета и чуть табаком: строевым офицерам курить в коридорах не полагалось, но запах всё равно держался, въедаясь в тёмные панели стен. Он захлопнул дверь, проверил, на месте ли папка с предписанием Рауха, и двинулся вперёд.

Сначала — по знакомому маршруту: мимо дверей с табличками «Дежурный по штабу», «Канцелярия дежурного генерала», где у порога всегда стоял фельдъегерь с седыми усами и взглядом, который, казалось, видел насквозь любого, кто проходил мимо. Дальше коридор делал плавный поворот, и здесь уже начиналась другая часть здания — не парадная, а рабочая.

Он миновал широкую лестницу с чугунными перилами, отполированными тысячами прикосновений. По ней днём сновали писаря с папками, курьеры с пакетами, посыльные с донесениями; по вечерам же она становилась почти безлюдной, и шаги отдавались гулко, как в пустом храме. Спустившись на полмарша, он свернул в боковой коридор, куда почти не доходил свет из окон: здесь горели масляные бра, дававшие тусклый, желтоватый свет, и от этого казалось, что время тут течёт медленнее.

Дальше путь шёл мимо ряда дверей с лаконичными табличками: «Отдел расквартирования», «Хозяйственная часть», «Топографический отдел». У каждой двери висели списки лиц, имевших право входа, и крючки для номерных жетонов. Ивашов не останавливался: его путь лежал дальше, в то крыло, где размещались службы, связанные с планированием и перевозками.

Наконец он вышел к небольшому вестибюлю с двумя дверьми. На одной было выведено чёрным по белому: «Мобилизационное отделение». Рядом висела табличка с часами приёма и перечнем должностей, имевших доступ к документам. Дверь была массивная, дубовая, с латунной ручкой и замком, который запирался на особый ключ — его выдавали только по распоряжению генерал-квартирмейстера.

Прежде чем постучать, Ивашов на секунду задержался, провёл ладонью по лицу, стряхивая дорожную усталость и напряжение, и только потом трижды коротко ударил в дверь.

Изнутри отозвался голос Басманова:

— Войдите!

Дверь открылась, и его встретил тот самый запах канцелярии: сургуч, старая бумага, чернила, воск. И сразу — другой ритм пространства: не строевой, не парадный, а канцелярский, размеренный, где каждое движение должно быть точным, а каждый звук — оправданным. Здесь царила особая, канцелярская атмосфера, наполненная скрипом перьев, шелестом листов и мерным стуком пишущих машинок.

Здесь работали в большинстве своём гражданские чиновники и классные писари — люди, чья сила была не в командовании, а в учёте, точности и умении содержать бумаги в строгом порядке.

Старший писарь Михаил Петрович Басманов сидел за своим столом, склонившись над ведомостью. На нём был тёмно-серый сюртук, слегка поношенный, но безупречно опрятный, а на груди поблёскивал знак гражданского ведомства. Перед ним стояла американская пишущая машинка «Ундервуд» — её клавиши щёлкали с сухим, деловитым звуком, когда он с усердием набирал очередной свод.

Подполковник Ивашов подошёл к столу, держа в руках требование с подписью Рауха.

— Здравствуйте, Михаил Петрович. По распоряжению генерал - квартирмейстера мне необходимо проверить соответствие мобилизационных расписаний реальным возможностям Транссиба. Нужны сводки по движению воинских эшелонов за последние три месяца, выборочно по первым, пятнадцатым и последним числам. И ведомости по подаче вагонов на участках Челябинск — Омск и далее до Иркутска.

Басманов кивнул, не удивляясь: такие запросы бывали регулярно, и он привык к тому, что штабные офицеры приходят за сухими цифрами, которые для него были живой тканью службы.

— Так точно, Ваше высокоблагородие. Сейчас подберу. Только прошу: не задерживайте надолго. Особенно папку по резервным графикам — она на особом учете.

Он поднялся, прошёл к шкафам, где папки стояли ровными рядами, каждая с чёткой наклейкой, шифром и датой. Никаких сваленных в кучу бумаг: здесь порядок был почти идеально-ритуальным. На некоторых папках виднелись сургучные печати и пометки «Секретно», «Для служебного пользования», «На учёте». Басманов снял с полки нужные тома, проверил пломбы, поставил штампы и аккуратно сложил их в стопку.

— Вот, пожалуйста. Если понадобится что - то дополнительно, скажите. У нас тут ещё есть месячные сводки по узловым станциям.

Ивашов сдержанно поблагодарил, подписал требование и отнёс папки к своему столу в углу. Там, рядом с его местом, стояла ещё одна пишущая машинка. Но сегодня подполковник не стал к ней прикасаться: он работал по старинке, пером, выписывая цифры в служебную тетрадь, прошитую, пронумерованную и скреплённую печатью канцелярии и сверяя их с ведомостями.

Весь день он провёл над документами, тщательно выписывая показатели пропускной способности узлов, графики подачи вагонов, расхождения между планом и фактом. Он не торопился, не делал резких движений, не поднимал глаз без нужды. Каждый лист он изучал дважды, вчитываясь в каждую цифру, словно старался их запомнить.

Фёдор Ильич Крапивин, чиновник 10-го класса, сидел за своим столом так, чтобы видеть и вход, и угол, где работал Ивашов. На первый взгляд он занимался обычной канцелярской рутиной: подшивал листы, сверял номера, ставил штампы. Но на деле Фёдор Ильич был секретным сотрудником жандармского управления, проинструктированным ротмистром Зыковым: наблюдать, не привлекая внимания, отмечать любые странности, фиксировать, с какими документами работает подполковник.

Крапивин давно научился быть незаметным. Он не смотрел прямо, а ловил отражения в стекле шкафа, замечал, как меняется поза Ивашова, когда тот открывает ту или иную папку, как задерживается взглядом на отдельных строках. Он отметил, что подполковник делает выписки не только в служебную тетрадь, но и в свой маленький блокнот — тот самый, который он всякий раз прятал в карман, стоило кому-то подойти ближе.

Когда Ивашов на несколько минут отлучился, Крапивин будто невзначай поднялся, чтобы поправить стопку бумаг на соседнем столе. Он подошёл к столу подполковника ровно настолько, чтобы успеть пробежать глазами по названиям папок, лежавших сверху: «Сводки по движению эшелонов», «Ведомости по подаче вагонов Челябинск — Омск — Иркутск», «Резервные графики обхода узких мест Транссиба». Этого хватило, чтобы получить чёткое представление об интересе Ивашова. Он не трогал бумаг, не пытался заглянуть внутрь — только названия, только порядок, только то, что лежало на поверхности.

Вернувшись на своё место, Крапивин снова склонился над бумагами, будто ничего не произошло. Но в голове он уже складывал отчёт: какие папки, сколько времени, какие выписки, какая тщательность.

Наконец, когда сумерки легли на город, а в канцелярии зажгли керосиновые лампы, Ивашов закрыл последнюю папку, аккуратно сложил свои записи и встал. Он чувствовал, как ноют спина и шея, как гудит голова от бесконечных цифр. Он испытывал облегчение, он сделал то, что должен был сделать, и теперь пути назад не было. Работу он выполнил и, как сам про себя отметил с удовлетворением, выполнил её хорошо.

Он вернул папки Михаилу Петровичу, который уже собирался уходить:

— Всё, Михаил Петрович, благодарю. Завтра, если понадобится, возьму ещё.

— Хорошо, Ваше высокоблагородие, — спокойно ответил писарь.

Ивашов кивнул, надел шинель, поправил фуражку и вышел в коридор.

Едва за ним закрылась дверь, Крапивин поднялся и направился к кабинету штабс-ротмистра Зыкова.

Зыков сидел за столом, и лампа отбрасывала на бумаги узкий, жёсткий свет. Он поднял глаза, едва Крапивин постучал и вошёл.

— Докладывайте.

— Господин штабс - ротмистр, подполковник Ивашов сегодня весь день работал с ведомостями по Транссибу. Сводки по движению эшелонов, графики подачи вагонов, резервные расписания. Особенно интересовался участками Челябинск — Омск — Иркутск. Работал очень тщательно, будто каждую строчку запоминал. Делал выписки не только в служебную тетрадь, но и в личный блокнот.

Зыков чуть наклонил голову, не перебивая.

— Когда он отлучился на несколько минут, я смог ознакомиться с названиями папок на его столе. В том числе была папка «Резервные графики обхода узких мест Транссиба» — документы на особом учёте.

— Долго ли он с ней работал?

— Практически весь день. Не бегло. Тщательно. Методично.

Зыков помолчал, постукивая карандашом по столу — короткий, сухой ритм, в котором слышалось напряжение.

— Понятно. Спасибо, Фёдор Ильич. Продолжайте наблюдение. Но без самодеятельности. Всё через меня.

— Слушаюсь, господин штабс - ротмистр, — коротко ответил Крапивин и вышел, прикрыв за собой дверь.

Глава 8. Таврическая, 17

Декабрь в Петербурге не просто наступал — он обрушивался на город всей своей свинцовой тяжестью. Зыков отпустил извозчика у Суворовского проспекта: ему хотелось пройтись, стряхнуть с себя запах прокуренных кабинетов, канцелярской пыли и тех недоговорённостей, что висели в воздухе штаба, как сизый дым. Он поглубже надвинул фуражку, поднял воротник шинели и пошёл вперёд, туда, где за серыми фасадами пряталась Таврическая.

Мостовая была покрыта тонкой коркой льда, присыпанной снегом; каждый шаг отдавался в сапогах жёстким хрустом. По тротуару сновали люди, и каждый был одет так, будто пытался доказать городу, что ему не холодно: дамы в меховых накидках и шляпках с перьями, прикрывавшие лица муфтами; господа в пальто с каракулевыми воротниками и котелках; мелкие чиновники в поношенных сюртуках, торопливо семенившие, чтобы не замёрзнуть. Извозчики, укутанные в тулупы, покрикивали на лошадей, чьи ноздри выпускали густые клубы пара. У перекрёстков стояли дворники в серых армяках и тёплых варежках, сгребая снег в высокие валы, чтобы потом вывезти его прочь.

На углу, у небольшой вывески, светилось окно кофейни: за стеклом виднелись столики, за которыми сидели студенты и молодые дамы, грея руки о чашки. Оттуда доносился запах свежего кофе и выпечки — тёплый, почти вызывающий на фоне колючего ветра. Зыков на секунду задержался, глядя на эту уютную картину, и тут же одёрнул себя: уют был не для него, не сегодня.

Он свернул к Таврическому саду. Чёрные ветви деревьев стояли неподвижно, будто вырезанные из жести, а редкие фонари отбрасывали на снег жёлтые круги света. В саду было тихо — только изредка скрипел снег под ногами запоздалого прохожего или где-то вдалеке лаяла собака. Эта тишина казалась Зыкову почти неестественной, как пауза перед выстрелом.

Дальше он шёл по Таврической. Дома здесь были высокие, нарядные, но в декабрьском сумраке их лепнина и эркеры выглядели скорее мрачными, чем красивыми. Дом № 17 выделялся охристым кирпичом и строгими линиями модерна. Полуподвал был отделан гранитной щепой, а над входом висела скромная табличка с названием домоуправления — никаких намёков на то, что внутри скрывается нечто большее, чем обычная контора.

Зыков не пошёл через парадный вход. Он свернул во двор, где между стенами домов висел густой полумрак, разбавленный тусклым светом фонаря. Здесь пахло углём, мокрым камнем и чуть — конским навозом. Дверь в служебные помещения была неприметной, железной, с маленьким глазком и звонком, который почти не слышно было с улицы. Зыков трижды коротко нажал на кнопку, подождал, пока щёлкнет замок, и вошёл. Открывший дверь сотрудник разведочного отделения Семен Митрофанов, одетый в цивильный стеганный сюртук, посторонился, пропуская Зыкова:

— Доброго дня, ваш - бродь — широко улыбнулся Митрофанов.

— Привет, привет, Семён. У себя? — А как же с на месте как обычно.

Внутри пахло воском для паркета и холодным воздухом, который тянулся из приоткрытого окна в коридоре. Здесь не было ни ковров, ни картин, ни лишних деталей — только голые стены, крашенные в спокойный серо-зелёный цвет, и двери, каждая из которых запиралась на отдельный ключ. Зыков прошёл по коридору, миновал комнату, откуда доносился тихий стук пишущей машинки, и постучал в дверь в конце коридора.

— Войдите, — раздался из-за двери спокойный голос Лаврова.

Кабинет был устроен так, чтобы никто не догадался о его истинном назначении. С первого взгляда это могла быть квартира солидного чиновника или даже профессора: плотные шторы на окнах, книжные полки, пара гравюр на стенах. Но присмотревшись, можно было заметить детали, выдававшие службу.

У окна стоял массивный письменный стол из тёмного дуба. На нём лежали стопки донесений, карты железных дорог с пометками карандашом, чернильный прибор и несколько папок с грифом «Секретно». Рядом — телефонный аппарат новейшего образца: трубка на вилке, провода, уходящие в стену. В углу стоял тяжёлый сейф с бронзовыми накладками; его дверца была чуть приоткрыта, будто Лавров только что что-то туда убрал или, наоборот, собирался достать. Но как только вошел посторонний, ротмистр закрыл сейф.

На стене висели карты: Петербург с окрестностями, схема железнодорожных узлов, отдельный лист с обозначением портов и телеграфных линий. На полке — папки с личными делами, каждая помечена шифром и датой. На подоконнике, рядом с графином воды, лежала фуражка Лаврова и перчатки; на спинке стула висел сюртук.

Лавров сидел за столом, слегка наклонившись вперёд, и что-то писал в толстой тетради. Когда Зыков вошёл, он поднял глаза, но не стал сразу задавать вопросов — просто кивнул на стул напротив.

— Присаживайтесь, Павел Андреевич. Вижу, что устали. Хотите чаю? Тут есть свежий, из самовара.

Зыков покачал головой:

— Спасибо, Владимир Николаевич. Лучше сразу доложу. — Штабс-ротмистр достал из кармана френча блокнот и, сверяясь с записями, начал доклад:

— По результатам наружного наблюдения за подполковником Ивашовым картина пока рутинная: объект не предпринимал никаких действий, которые можно было бы расценить как попытку уклонения от слежки. Маршрут строго однообразен, без отклонений. Утром — выход из дома, примерно в 8 часов 15 минут. Следует на службу пешком либо на извозчике, в зависимости от погоды. Прибывает в штаб Петербургского военного округа около 9 часов. Задерживается до 18-19 часов вечера. Затем возвращается тем же маршрутом. Я запросил у службы установки полную выписку по подполковнику Ивашову. — Он достал из кармана сложенный лист бумаги и положил перед Лавровым. — Можете ознакомиться, но я изложу основное.

— Послужной список Константина Аристарховича Ивашова — совершенно обычный, типичный для офицера его возраста и звания. Родился в 1863 году, из дворян Владимирской губернии, отец — штабс-капитан в отставке, имение небольшое, доходов почти не приносит. Окончил Владимирскую гимназию, затем — Михайловское артиллерийское училище в 1883 году. Выпущен подпоручиком в конную артиллерию. В 1890 году поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, которую окончил в 1893 году по второму разряду — не блестяще, но вполне прилично. С того времени и служит в штабе. Служба шла без особых карьерных рывков. Получил чин подполковника в 1900 году. Награждён орденами Святого Станислава 3-й и 2-й степени, Святой Анны 3-й степени — всё по выслуге, без боевых отличий, так как в походах и сражениях не участвовал. Никаких взысканий, выговоров или дисциплинарных проступков в деле нет. Характеристики с мест службы — ровные, без восторгов. «Способен, трудолюбив, обладает аналитическим складом ума, но не проявляет инициативы, предпочитает исполнять поручения, а не брать на себя ответственность».

— Звёзд с неба не хватает, — констатировал Лавров. — Серый, как мышь.

— Именно так, Владимир Николаевич, — согласился Зыков. — Но серость эта обманчива. Аналитический склад ума, отмеченный в характеристиках, означает, что он способен работать с большими объёмами информации, находить в них закономерности. Именно это делает его ценным сотрудником в генерал-квартирмейстерской части. Он не просто перекладывает бумаги — он понимает их содержание, видит картину целиком.

— И именно поэтому японцам нужен именно он, — произнёс Лавров. — Не просто доступ к документам, но умение понять, что именно важно.

Зыков кивнул и продолжил:

— Теперь, что касается личных качеств, отмеченных агентурой, опросившей сослуживцев, прислугу и знакомых. Здесь картина более... — он подыскал слово, — колоритная. Ивашов умён, но не амбициозен. Авантюрная жилка у него присутствует — в молодости он был замечен в нескольких сомнительных историях: карточные игры, кутежи, женщины лёгкого поведения. Всегда, впрочем, в рамках приличий, чтобы не попасть под трибунал или суд офицерской чести. Однако, по свидетельству сослуживцев, он азартен — в карты проигрывал часто, иногда крупно, но находил способ перекрывать долги.

— И откуда, интересно, — перебил Лавров, — у штаб - офицера с таким жалованием находятся деньги на крупные карточные долги?

— В том - то и дело, мы задались этим же вопросом. — Зыков перевернул страницу в своём блокноте. — Служба установки выяснила, что около двух лет назад Ивашов очень крупно проигрался в закрытом клубе на Невском. Суммы точно установить не удалось — там свои порядки, но говорят, что речь шла о нескольких тысячах рублей. Долг был погашен в течение недели. Сам Ивашов на вопросы о деньгах отвечал туманно, либо переводил разговор на другое.

Лавров нахмурился.

— Возможно это и есть тот самый хвост, за который его ухватили японцы. Проигрался в карты, подошёл «доброжелатель», предложил выход. Банальная, как мир, история.

— Вполне могло быть, — подтвердил Зыков. — Кроме того, из той же агентурной справки следует, что Ивашов сластолюбив и порочен в житейском смысле. Несколько лет назад у него был роман с женой сослуживца — тайный, но в штабе о нём знали. Жена Ивашова, Елизавета Павловна, узнав об этом, устроила скандал, и с тех пор их отношения окончательно испортились. Вот уже полгода, как она уехала к сестре в Тамбовскую губернию, оставив мужа в Петербурге одного. Соседи говорят, что она не собирается возвращаться, брак фактически распался.

— Одинокий, запутавшийся в долгах человек, с разрушенной семьёй и без серьёзного карьерного будущего, — подвёл итог Лавров. — Идеальная жертва для вербовки.

— Именно, — сказал Зыков. — Он не корыстен в том смысле, что не стремится к деньгам ради самих денег. Но он слаб перед соблазнами, а когда попал в беду, оказался не в силах найти выход самостоятельно. Японец, который подошёл к нему после проигрыша, скорее всего предложил простое решение — и Ивашов ухватился за него, не думая о последствиях.

Лавров встал, подошёл к окну и некоторое время молча смотрел на снежную крупу, кружившуюся за стеклом.

— Карточный долг, — наконец произнёс он, — одна из самых старых ловушек в мире. Но она работает до сих пор. Офицер, попавший в такую переделку, скорее согласится предать родину, чем признается в проигрыше казённых денег. — Он повернулся к Зыкову — А теперь скажите мне, Павел Андреевич, как вы считаете, Ивашов — сознательный предатель или человек, которого просто затянуло, и он пытается выпутаться?

Зыков задумался на мгновение. Его лицо, обычно бесстрастное, слегка оживилось.

— Скорее второе, Павел Андреевич. По тому, как он ведёт себя на маршруте, видно: он не профессионал. Он не заметил наружку, хотя она была достаточно плотной. Он не пытается уйти от слежки, не использует элементарные приёмы контрнаблюдения. Он просто... идёт, погружённый в себя, и, судя по всему, его мучают угрызения совести. Это не черта сознательного шпиона. Сознательный шпион хладнокровен. А Ивашов, по всем наблюдениям, — человек, который сам себе противен тем, что делает.

— Владимир Николаевич, я продолжу?

— Да, конечно, простите за лирической отступление

— Ну-с, так вот, вчера подполковник Ивашов провёл весь день в мобилизационном отделении. Работал с ведомостями по Транссибу: сводками по движению эшелонов, графиками

подачи вагонов на участках Челябинск — Омск — Иркутск. Особое внимание уделил папке «Резервные графики обхода узких мест Транссиба» — документам на особом учёте. Работал не бегло, а методично, будто запоминал каждую строчку. Делал выписки не только в служебную тетрадь, но и в личный блокнот. Вот, пока это всё, что у нас есть на Ивашова.

Лавров нахмурился, постучал пальцами по столу — не нервно, а размеренно, как человек, который привык взвешивать каждое слово:

— Личный блокнот… а вот это уже интересно

Он обернулся к Зыкову:

— Наружное наблюдение продолжаем в прежнем режиме. Но только вот что, Павел Андреевич. Судя по всему, информацию он пока японцам не передал, но готовится, а по сему наружку проинструктируете так, что если вдруг у него будет какой-то контакт с незнакомцем, при котором он попытается передать бумаги или какую-либо папку, то только в этом случае задерживаем, мы не можем позволить себе утечку важных сведений врагу, а так просто продолжаем наблюдать, … пока.

Зыков уже взялся за козырёк фуражки, собираясь откланяться, но Лавров лёгким, почти незаметным жестом остановил его — не резко, не властно, а так, как останавливают товарища, чтобы не дать уйти раньше времени.

— Погодите, Павел Андреевич. Думаю, пора подключать, так сказать, тяжёлую артиллерию.

Он поднялся, подошёл к сейфу в углу, повернул массивный бронзовый лимб, щёлкнул замком и достал изнутри стопку одинаковых конвертов. Они и правда были примечательные: плотная кремовая бумага, по периметру — тонкий, замысловатый орнамент, будто виньетка из старинной книги, но без гербов и имён, ничего, что могло бы выдать отправителя.

Лавров выбрал один, раскрыл, вложил внутрь листок, на котором ровным, мелким почерком были выведены всего три цифры. Никаких имён, никаких адресов — только дата и время.

Зыков чуть усмехнулся, едва заметно, одними уголками губ. Он знал, кому предназначалось послание.

— «Павел Петрович», ну вы знаете — тихо произнёс Лавров, будто не хотел, чтобы само имя лишний раз звучало в комнате. — Три цифры — это дата и время встречи. Место ему известно (явочная квартира, которая по платёжным ведомостям контрразведки проходила как «Медведь»).

— Знаю, Владимир Николаевич, — спокойно ответил Зыков.

— Не сочтите за труд, Павел Андреевич, — Лавров чуть запнулся, поправился с лёгкой усмешкой, — простите, … отнесите сами. Голубчик, ну вы знаете, куда. Пусть не будет никаких курьеров, никаких лишних рук.

Зыков кивнул. В этой просьбе Лаврова было не недоверие к другим, а понимание: когда речь идёт о самом тонком звене, лучше сделать всё самому, а Зыкову он доверял.

Штабс-ротмистр снова приложил руку к козырьку, коротко, по-уставному, но на этот раз Лавров не стал его задерживать. Зыков вышел, прикрыв за собой дверь так, чтобы не хлопнуло: в этом коридоре любой резкий звук казался неуместным, почти вызывающим.

Глава 9. Явочная квартира «Медведь»

Лавров прибыл на явочную квартиру за полчаса до оговоренного времени. Это были азы агентурной работы — никогда не приходить точно к сроку, всегда иметь запас времени, чтобы осмотреться, проверить окружение, убедиться, что за тобой нет хвоста. За тринадцать лет службы это вошло в плоть и кровь, стало рефлексом, который не отключался никогда.

Явка располагалась в доходном доме на углу Бассейной улицы и Баскова переулка — в районе, где селились мелкие чиновники, отставные военные и ремесленники. Дом был пятиэтажным, с тёмным двором-колодцем и чугунной лестницей, по которой шаги звучали глухо, будто проваливаясь в пустоту. Чёрный ход, выходивший в узкий проход между домами, позволял приходить и уходить незаметно: ни дворник, ни соседи не успевали толком разглядеть, кто свернул в этот коридор.

Квартира принадлежала охранному отделению ещё с тех времён, когда Лавров служил в нём. Она была приобретена в начале девяностых, оборудована с соблюдением всех мер конспирации и использовалась для самых деликатных операций. Когда Лавров, по приглашению начальника Главного Управления Генерального Штаба (ГУГШ) генерал-лейтенанта Сахарова, перешёл в контрразведку, он получил карт-бланш на формирование структур своего нового подразделения и, естественно, забрал с собой лучших агентов, а вместе с ними — и эту квартиру. Жандармы расставались с ней очень неохотно. С тех пор «Медведь» числился в ведомостях Лаврова, и жандармы, хотя и ворчали, но доступ к квартире потеряли навсегда.

Содержательницей явки была Анна Никитична Парамонова, вдова городового, погибшего десять лет назад в схватке с уголовниками на Выборгской стороне. Ей тогда едва перевалило за сорок, и она осталась одна, без средств к существованию. Охранное отделение, ценя память погибшего служащего, предложило ей работу: стать содержательницей явочной квартиры. Анна Никитична согласилась без колебаний — во-первых, это были деньги, а охранка платила очень хорошо за необременительный труд, во-вторых, она чувствовала себя частью того дела, за которое муж отдал жизнь.

Сейчас Анне Никитичной было около пятидесяти лет, но она сохранила остатки былой красоты: дородная, с пышной грудью, румяными щеками и живыми, хитроватыми карими глазами. Она любила хорошо одеваться, любила вкусно поесть и, что самое важное для Лаврова, умела хранить тайны. Впрочем, за десять лет работы она усвоила главное правило: не задавать лишних вопросов. Хозяйка конспиративной квартиры никогда не должна интересоваться теми, с кем встречается оперативник, и уж тем более заводить разговоры о предстоящей встрече. Анна Никитична знала это твёрдо и никогда не нарушала негласного правила.

Когда Лавров вошёл в прихожую — от входной двери квартиры у него был свой ключ, Анна Никитична, предупреждённая ротмистром, уже хлопотала на кухне. Заслышав знакомые шаги, она вышла ему навстречу, вытирая руки о передник, и молча, лишь чуть склонив голову в знак приветствия, указала на дверь в гостиную и бесшумно вернулась на кухню.

На столе в гостиной красовалась бутылка выдержанного бордо и эклеры из кондитерской «Абрикосов» на фарфоровой тарелке, словом, всё то, что предпочитал агент на встречах с Лавровым. На стене висела икона в серебряном окладе, рядом — фотография покойного мужа в мундире городового. В комнате было тепло — печка топилась с утра, и воздух был сухим, спокойным. На подоконнике стояла ваза с сухими цветами, на полке — несколько книг: дешёвые издания романов, которые никто не читал, и толстый том «Домостроя» — для вида, чтобы квартира выглядела как жилище обычной вдовы.

За стеной, на кухне, было тихо — Анна Никитична удалилась в дальнюю комнату, как и положено содержательнице явки, которая не должна видеть гостей и слышать их разговоры.

Лавров знал, что она не выйдет, пока он сам не позовёт её или пока не уйдёт последний посетитель. В этом доме царила железная дисциплина, и каждый знал своё место.

Лавров поднялся с дивана, подошёл к окну, чуть раздвинул портьеру и выглянул наружу. Двор-колодец был пуст, только внизу, на мокрых камнях, отражался свет единственного фонаря, да где-то в глубине арки мелькнула тень кошки. Всё было спокойно.

Лавров опустился на диван, вытянул ноги и с наслаждением откинулся на спинку. Диван был старым, продавленным, но удобным. Он достал из кармана брегет щёлкнул крышкой и посмотрел на циферблат, стрелки медленно ползли к восьми.

Когда часы показали без пяти минут восемь, в прихожей раздался условный звонок — один короткий и два длинных.

Ротмистр бесшумно поднялся, поправил галстук, одёрнул сюртук и, ступая неслышно, как тень, направился к входной двери. Он сам лично спустился в прихожую, отодвинул цепочку и, приоткрыв дверь ровно настолько, чтобы видеть стоящего на пороге, тихо произнёс:

— Входите. Я жду вас.

Лавров посторонился, пропуская гостя. Мимо него, чуть коснувшись плечом дверного косяка, в прихожую бесшумно скользнула молодая женщина. На ней было дорогое драповое пальто темно-вишневого цвета, отороченное черным каракулем на воротнике и рукавах, — такие носили жены состоятельных чиновников или актрисы императорских театров. Из-под пальто выглядывал край темно-синего шерстяного платья строгого, но изящного покроя. На голове — небольшая шляпка-капор с вуалью, скрывавшей лицо до самого подбородка, и тонкие лайковые перчатки, плотно обтягивавшие изящные кисти рук. В одной руке она держала ридикюль из крокодиловой кожи с серебряной застежкой, в другой — небольшой зонтик, хотя снег за окном давно уже не шел. Она двигалась с той особенной, текучей грацией, которую не купишь за деньги и не выработаешь упражнениями, — это было врожденное изящество, свойственное женщинам, выросшим в достатке и привыкшим к вниманию.

Лавров прикрыл за ней дверь, задвинул цепочку и жестом пригласил гостью пройти в гостиную. Женщина, не снимая перчаток, проследовала за ним, и только когда они оказались в комнате, залитой мягким светом настольной лампы, она остановилась у зеркала в тяжелой дубовой раме, висевшего в простенке между окнами.

Медленно, с легким, почти театральным жестом, она откинула вуаль.

На Лаврова смотрела женщина удивительной, почти невероятной красоты. Лет тридцати — тридцати пяти, не больше, с идеально правильными чертами лица, которое могло бы сойти за образец для античной камеи. Большие, чуть раскосые глаза цвета темного янтаря с золотистыми искрами, высокие скулы, точеный нос с легкой горбинкой, пухлые, чувственные губы, тронутые едва заметной улыбкой. Ее волосы, густые и волнистые, отливали в свете лампы медным, почти рыжим блеском, хотя в тени казались темно-каштановыми. Она была высокой, стройной, с тонкой талией и горделивой посадкой головы, что выдавало в ней не только природную стать, но и привычку к власти — пусть и скрытой, но несомненной.

— Ну здравствуйте, Владимир Николаевич, — произнесла она низким, с легкой хрипотцой голосом, в котором, однако, не было ни капли вульгарности. — Как всегда, вовремя. Вы не находите?

Лавров шагнул к ней и, взяв поданную ему руку, коснулся губами тонкой лайковой перчатки чуть выше запястья — почтительно, но с оттенком снисходительности, словно он позволял себе эту вольность, зная, что она это оценит. Впрочем, женщина и не думала выглядеть смущенной или польщенной. Она приняла этот жест как должное, как принимают старый, давно заведенный ритуал, и опустилась на диван, даже не спросив разрешения.

— Софья Михайловна, — с легкой улыбкой произнес Лавров, — вы, как всегда, неотразимы. Прошу вас, располагайтесь.

Она откинулась на спинку дивана, небрежно, но с достоинством, затем, достав из ридикюля небольшое овальное зеркальце в серебряной оправе, молча посмотрелась в него. Несколько мгновений она поправляла прядь волос, выбившуюся из-под шляпки, затем слегка промокнула платком кончики губ и, закрыв зеркальце, снова убрала его в ридикюль. Ее взгляд, устремленный теперь на Лаврова, был спокоен и внимателен. Она выжидала.

Софья Михайловна Леонтьева. Именно так звали агента, известного в узких кругах под псевдонимом «Павел Петрович», — псевдонимом, который она выбрала сама, с той особенной женской иронией, которая всегда была ей свойственна. Она была ценнейшим агентом, настоящей жемчужиной контрразведки, человеком, без которого многие громкие дела охранного отделения могли бы просто не состояться. Лавров знал ее историю от начала до конца, и каждый раз, когда она появлялась на пороге, он мысленно возвращался к тому дню, когда впервые узнал о ней от самого Сергея Васильевича Зубатова.

В 1895 году, когда Зубатов возглавлял Московское охранное отделение, к нему пришла молодая женщина — тогда ей едва исполнилось двадцать два. Она была дочерью небогатого, но образованного помещика из Симбирской губернии, получила блестящее домашнее воспитание: знала немецкий и французский в совершенстве, читала Шиллера и Бальзака в подлиннике, музицировала, разбиралась в политике. Ее отправили в Москву для продолжения образования, и там, среди передовой молодежи, она увлеклась революционными идеями. Вступила в один из тогдашних кружков — эсеровских, хотя тогда они еще не называли себя эсерами официально, — читала запрещенную литературу, участвовала в диспутах, мечтала о справедливом переустройстве мира.

Но реальность оказалась жестокой. Те, с кем она делила идеалы, быстро показали ей свое истинное лицо: методы насилия, готовность убивать, презрение к человеческой жизни, прикрытое красивыми лозунгами. Она увидела, как ее товарищи обсуждают покушения с таким же спокойствием, с каким она обсуждала бы поездку на летнюю дачу. И в ней что-то надломилось. Она поняла, что не может быть частью этого мира — мира крови и жестокости, где идеалы служат лишь прикрытием для низменных страстей.

Тогда она приняла решение, которое могло бы стоить ей жизни. Она сама, без чьей-либо просьбы или уговоров, пришла в Московское охранное отделение, попросилась к самому начальнику и, сев напротив Зубатова, сказала просто и ясно:

— Я хочу работать на вас. Я многое знаю о тех, кто называет себя борцами за свободу. И я готова помочь вам их остановить. Но у меня будет одно условие: мое имя останется в тайне, и я сама выберу себе псевдоним.

Зубатов, опытный и циничный оперативник, сначала отнесся к ней с подозрением — такие предложения могли быть ловушкой. Но он проверил ее информацию, и она оказалась точной. Он проверил ее связи — она не была ни с кем в близких отношениях, у нее не было семьи, которой могли бы угрожать революционеры. И тогда он принял ее предложение. Она сама предложила псевдоним — «Павел Петрович», объяснив это тем, что никто не заподозрит мужчину в женщине, а женщину — в секретном агенте.

Подписка о сотрудничестве, которую она дала тогда Зубатову, была короткой и сухой:

«Я, нижеподписавшаяся, дочь коллежского советника, Софья Михайловна Леонтьева, добровольно обязуюсь оказывать содействие Московскому охранному отделению в деле борьбы с революционным движением, доводить до сведения обо всем, что станет мне известно, и не разглашать факта моего сотрудничества. Обязуюсь также не вступать в сношения с лицами, подозреваемыми в государственных преступлениях, без ведома начальства. Агентурные сообщения буду подписывать псевдонимом «Павел Петрович»

Подпись — С. Леонтьева».

С тех пор ее послужной список был богат и впечатляющ. В 1897 году при ее непосредственном участии был разгромлен подпольный центр эсеровской организации в Москве —

тогда арестовали более двадцати человек, изъяли оружие и типографию. Ее информация о явках, связях и планах боевиков позволила охранному отделению нанести удар, от которого революционеры оправлялись несколько лет. Именно тогда о ней впервые услышал Лавров, тогда еще служивший в Петербурге.

Когда Зубатов был переведен в столицу и возглавил Особый отдел Департамента полиции, он привез Софью Михайловну с собой. Но нагружать ее работой в новой должности не стал — она была слишком ценным агентом, чтобы светить ее на поверхности. Вместо этого он познакомил ее с Лавровым, которому доверял безоговорочно, и передал с рук на руки. С тех пор «Павел Петрович» работала только на него, и ни один другой оперативник даже не знал о ее существовании.

— Что ж, Софья Михайловна, — сказал Лавров, присаживаясь напротив нее в кресло, — рад видеть вас в добром здравии. Прежде всего, угощайтесь. — он жестом показал на стол — Всё, как вы любите… Бордо, эклеры, словом располагайтесь»

Мельком бросив взгляд на стол, госпожа Леонтьева неожиданно для Лаврова спросила:

— А знаете, Владимир Николаевич, а нет ли у вас водки, я бы, пожалуй, выпила рюмку другую, на улице такая мерзость…— она поёжилась, кокетливо передёрнув плечиками.

— Сей момент, неожиданно, сейчас — он вышел из комнаты, притворив за собой дверь и через несколько минут вернулся от Анны Никитичны с подносом в руках, на котором стоял графинчик с белой прозрачной жидкостью, двумя рюмками и тарелочкой груздей. — Вот, извольте Софья Михайловна.

Поставив на стол поднос, он наполнил рюмки и жестом пригласил даму к столу.

— Ну, за встречу, Софья Михайловна — он поднял рюмку, и они дружно выпили. Чуть поморщившись, закусывая подцепленным на вилку груздем, Леонтьева жестом показала на рюмку, требуя повторить. Усмехнувшись, Лавров, не возражая, налил ещё по одной. Ритуал повторился. После чего Леонтьева прошла к дивану и с размаху упала на спинку широко раскинув руки. Лицо её от выпитой водки раскраснелось, а в глазах заплясали чертики. Лавров в который раз поразился в миг произошедшей с ней переменой. Вот, только что была светская дама из высшего общества, а теперь он наблюдал вульгарную женщину вамп из полусвета.

— Софья Михайловна, и как это вам всегда удаётся так быстро перевоплощаться? Вы брали уроки актерского мастерства. А? — Совершенно искренне рассмеялся ротмистр.

Дама из полусвета достала из ридикюля сложенный веер, поднялась с дивана и вульгарной, вихляющей походкой приблизилась к Лаврову.

— Ну что, красавчик, может развлечёмся? — хриплым прокуренным голосом произнесла она с улыбкой, проведя веером по лицу ротмистра, усаживаясь к нему на колени.

Ну надо же, она даже тембр голоса изменила — Отметил про себя Лавров. Он знал, что Софья Михайловна неравнодушна к нему, да и она сама не раз признавалась ему в этом, добиваясь близости. Лавров несколько смущённый, решительно, но в тоже время нежно освободился от объятий красавицы. Встал, одернул сюртук и смеясь произнёс: — Ох, с огнём играете, Софья Михайловна, я ведь когда-нибудь не выдержу и тогда…

— Ох, и когда же наступит наконец это «тогда» — томно произнесла молодая куртизанка, делая ударение на слове тогда, задумчиво подперев веером свой подбородок. И в тот же миг она перевоплотилась опять в светскую даму, даже нет, не светскую, а в деловую, решительную женщину. Глаза её прищурились и остро впились в Лаврова. Он невольно передернул плечами, наблюдая такие перемены.

— Итак, ротмистр, зачем я вам понадобилась на этот раз? — произнесла она чуть насмешливо, — не тяните. Я не люблю, когда меня заставляют ждать.

Лавров на секунду задержал взгляд на её лице — не как на женщине, а как на лучшем агенте, которого он знал, — и кивнул.

— Никак не могу привыкнуть к вашим метаморфозам. Уверен, из вас вышла бы великая актриса, Софья Михайловна. Впрочем, да, к делу. …У нас появился объект, который требует вашего особого внимания, — продолжил Лавров. — Подполковник Ивашов Константин Аристархович. Штаб-офицер управления генерал-квартирмейстера. Мы подозреваем его в сотрудничестве с японской разведкой.

Она чуть приподняла одну бровь, ожидая продолжения, и Лавров заметил, как при этом движении ее лицо стало еще более выразительным. Она слегка наклонила голову, и в ее янтарных глазах мелькнула искра интереса.

— Японцы? — переспросила она, и голос ее стал чуть жестче, профессиональнее. — Вы это серьёзно, ротмистр? Где мы, а где японцы …

— И тем не менее, — продолжил Лавров. Он рассказал агенту всё, что им удалось выяснить об Ивашове, его образе жизни, привычках, особенностях характера. В данном случае он делал это осознанно, предоставляя агенту полную информацию и давая «Павлу Петровичу» карт - бланш в выборе средств и методов разработки объекта. Он не сомневался, что агент справится с поставленной задачей:

— Софья Михайловна, вам надо будет побывать у него дома, убедится, что собранные им материалы всё ещё у него и выяснить, где они хранятся. Может обнаружите и ещё, что-нибудь интересное и полезной для нас.

— Ясно, я люблю такие задачи— кивнула она и улыбнулась той самой улыбкой, которая могла бы сразить любого мужчину наповал, если бы он не знал, кто скрывается за этой красивой оболочкой. — Когда начинать?

— Давайте так, ближайшее время неотлучно находитесь дома и как только мы зафиксируем его, ну, скажем, поход в ресторан, то вас тотчас известят и тогда ваш выход.

Леонтьева послушно кивнула и встала, правильно полагая, что встреча закончена.

Глава 10. Неожиданное знакомство

Следующие два дня для Ивашова прошли в привычной, почти убаюкивающей рутине. Утром — подъём, ледяное умывание, безупречный китель, и в штаб, где всё было на своих местах: кипы бумаг на столе, привычный запах сургуча и чернил, почтительные кивки сослуживцев. Встреча с Тано, муки совести, холодный страх, сковавший грудь тогда, на набережной, — всё это вдруг куда-то отступило, словно растворилось в петербургском тумане.

Он даже повеселел. Впервые за последние недели он чувствовал себя почти безмятежно. Всё прошло гладко, даже более чем гладко. Он лишний раз прокручивал в голове сцену с генералом Раухом — как ловко, как естественно он нашёл нужные слова, как убедительно сослался на необходимость уточнить данные по Транссибу. Комар носа не подточит. Генерал не только не заподозрил ничего, но и, кажется, проникся уважением к его дотошности.

И вот теперь, когда задание Тано было благополучно выполнено, Ивашов почувствовал, что в груди разливается приятное тепло. Он был находчив. Он был умён. Он обвёл вокруг пальца целый штаб! И это чувство — головокружительное, пьянящее — требовало заслуженной награды.

Сегодня вечером он непременно намеревался отметить свой успех. Он перебрал в уме несколько столичных ресторанов, достойных его настроения и кошелька. «Медведь» — слишком шумно, там купечество и приезжие, да и американский бар, говорят, в моде, а он хотел чего-то более солидного. «Контан» — безусловно, шикарно, но там собирается литературная богема, слишком много посторонних глаз, а ему хотелось уединения и комфорта. «Вена» — на Малой Морской, конечно, хороша, но там, говорят, свои, журналистские, компании.

И тогда он остановился на «Кюба». Этот выбор был не случаен. «Кюба» на Большой Морской, 16, был не просто рестораном — он был символом, местом, где обедала и ужинала высшая петербургская знать, где завтраки были обязательны для денди, а вечером можно было встретить всю «золотую молодёжь» столицы. Он славился своей безупречной репутацией и французской кухней, которую считали лучшей в городе. Именно здесь можно было почувствовать себя не просто успешным штаб-офицером, а человеком, стоящим на самой вершине. Там, за столиком в отдельном кабинете, можно было не спеша насладиться дорогим вином, ощутить вкус победы и предвкушение ещё большего вознаграждения. «Кюба» был для него идеальным местом, чтобы в полной мере прочувствовать свою новую, опасную и в то же время такую манящую роль.

Итак, «Кюба».

Ивашов вошёл в вестибюль ресторана с тем ощущением приятного возбуждения, которое всегда сопутствовало посещению мест, где ты чувствуешь себя не просто посетителем, а полноправным участником высшей жизни. Швейцар в ливрее, с бакенбардами и выправкой гвардейца, принял его шинель с почтительной церемонностью, которую здесь оказывали каждому, кто переступал порог.

Просторный вестибюль с высокими зеркалами и мраморными колоннами плавно переходил в главный зал. Ивашов задержался на мгновение, окидывая его взглядом. Свет хрустальных люстр отражался в полированных дубовых панелях и белоснежных скатертях, за которыми сидели представители самого блестящего петербургского общества. Здесь можно было увидеть всё и всех — от великих князей и балетоманов до финансовых воротил и известных адвокатов. Атмосфера царила та особенная, присущая только «Кюба», — утончённая, чуть снисходительная, но при этом невероятно уютная благодаря тяжелым кремовым гардинам и мягкому свету настенных бра. Заведение с безупречной репутацией, где могли появляться даже дамы без сопровождения кавалеров, считалось «одной из «академий гурманства»».

Ивашов, чувствуя на себе любопытные оценивающие взгляды посетителей, проследовал в отдельный кабинет. Уединённый, обитый штофом, с массивным круглым столом и тяжёлыми портьерами, он давал ощущение защищённости, столь необходимое ему сегодня. Он хотел побыть наедине с собой, насладиться своей маленькой победой в полной мере.

Усевшись в мягкое кресло, он взял в руки меню — толстую карту в кожаном переплёте, пестрящую названиями, от которых у обывателя пошла бы кругом голова, а у истинного гурмана — загорелись глаза. Впрочем, сегодня Ивашов был не просто гурманом, он был победителем. И победитель заслуживает лучшего.

Пролистав страницы, он остановил свой выбор на классике, но в лучшем её исполнении. На закуску — паштет из гусиной печени по-страсбургски, тающий во рту, с тончайшим ароматом трюфелей. Затем — консоме с кнелями из рябчика, прозрачный, как слёзы, и обжигающе горячий. На горячее — филе сёмги, поданное под белым вином с каперсами и лимоном, нежное и ароматное. И, наконец, десерт — сладкое, невесомое пирожное, достойное венчать этот пир.

Но самый важный выбор был за напитками. Ивашов перебирал винные листы, изучая выдержанные бордо и тонкие бургундские. К сёмге он решил взять шабли, которое так хорошо оттеняло её вкус, а перед едой… перед едой была водка. И только лучшая.

Он перебрал в уме знакомые названия: водка Штриттера, которую в Петербурге считали эталонной благодаря дистиллированной воде, или «Смирновская», продукция торгового дома Петра Смирнова, которая уже тогда была хорошо известна и даже удостоилась высочайшего внимания. И среди всего этого великолепия Ивашов остановился на водке «Смирновъ № 21». Не та, что шла в массовую продажу, а та, что производилась для особых ценителей и «высочайшего двора». Он слышал, что она отличается особенной мягкостью и чистотой, достигаемой многоступенчатой дистилляцией из лучшего зерна. Это был выбор настоящего знатока.

Когда графин в серебряном ведёрце со льдом, запотевший от холода, оказался на столе, Ивашов наполнил небольшую рюмку. Он поднёс её к свету, любуясь прозрачностью жидкости. Затем — одним глотком опрокинул её в рот, как и подобает настоящему офицеру и мгновение спустя, ощутил, как жар разливается по телу, согревая изнутри.

Кушанья сменяли друг друга с безупречной точностью. Официанты во фраках двигались бесшумно, предугадывая желания. Ивашов наслаждался каждым куском, каждым глотком. Он чувствовал, как уходит напряжение последних дней, как возвращается аппетит и удовольствие от жизни. Вкус сёмги, идеально прожаренной и политой винным соусом, напоминал ему о лучших временах, о Париже, который он когда-то посещал, о тех днях, когда его совесть была чиста, а карманы полны. Но сейчас это воспоминание не причиняло боли — оно добавляло пикантности его нынешнему триумфу.

В этом кабинете, за этим столом, он не был подполковником, запутавшимся в долгах и предательстве. Он был господином своей судьбы, умным игроком, который только что сделал удачный ход и уже предвкушал следующий, более крупный выигрыш. Голова слегка кружилась от выпитого. Он чувствовал ту приятную, расслабленную тяжесть, когда мир перестаёт быть резким и колючим, а все проблемы кажутся далёкими и незначительными. Душа пела. Ещё бы — он только что переиграл целый штаб, обвёл вокруг пальца самого генерала Рауха и теперь сидел в лучшем ресторане столицы, ощущая себя вершителем судеб.

Именно в этот момент, когда блаженная истома достигла своего пика, дверь его кабинета чуть приоткрылась. Негромкий стук в дверь, на который Ивашов даже не успел отреагировать, и в проёме показалась женская фигура.

Она была прекрасна. Это был не тот вызывающий блеск полусвета, который можно купить за деньги, и не вульгарная броскость модных кокоток. В ней чувствовалась та самая истинная порода, которую не вытравить ни временем, ни обстоятельствами: наследница хорошего рода, привыкшая с детства к тому, что мир лежит у её ног.

Ивашов приподнялся было из кресла, но женщина жестом остановила его, шагнув в кабинет.

— Прошу простить мою смелость, — произнесла она низким, с лёгкой хрипотцой голосом, который мгновенно приковал внимание. — Я увидела вас из зала и не смогла удержаться. Мы ведь с вами, кажется, знакомы по дому баронессы Вейс? Вы были там в начале осени, когда устраивали благотворительный вечер для обездоленных. Я тогда сидела рядом с хозяйкой, в третьем ряду… Простите, если ошибаюсь.

Ивашов на секунду задержал взгляд на её лице, пытаясь поймать ускользающее воспоминание. Голова была приятно затуманена, но не настолько, чтобы потерять светскую хватку.

— Возможно, сударыня, — ответил он, чуть наклонив голову и жестом приглашая её присесть. — Признаться, вечер был хлопотный, многое смешалось в памяти. Но если мы встречались, я искренне рад возобновить знакомство.

Она улыбнулась, будто именно такой ответ и ожидала, и села напротив, не снимая перчаток. Движения её были неторопливыми, выверенными, без суеты.

— Благодарю. Вы позволите присоединиться к вам на несколько минут? Я ужинала в зале, но там сегодня так шумно, а мне хотелось тишины. А ваш кабинет показался таким уютным…

Ивашов снова кивнул, на этот раз уже с явным удовольствием. В её присутствии не было ничего угрожающего; напротив, она словно добавляла этому вечеру ещё один оттенок аристократической непринуждённости, которой ему самому порой не хватало.

— Возможно, мы действительно пересекались на каком-то приёме. Но, признаюсь, я не помню вас, и это моя огромная потеря, моё упущение.

Она улыбнулась — той самой улыбкой, которая могла свести с ума любого мужчину, но не была вульгарной. В ней чувствовались ирония и одновременно искреннее любопытство.

— О, не стоит извиняться, подполковник. На таких мероприятиях людей так много, что запомнить всех просто невозможно. — Она сделала паузу, чуть склонив голову, и в свете лампы её янтарные глаза блеснули. — Меня зовут Софья Михайловна Леонтьева. Моя фамилия вряд ли вам что-то скажет, но я знаю некоторых ваших сослуживцев.

Ивашов, всё ещё под впечатлением от её появления, пригласил её сесть, чувствуя, как его настроение стремительно поднимается на новую высоту. Он сам предложил ей выпить с ним бокал шабли, и она согласилась с той лёгкой, едва заметной снисходительностью, которая так привлекательна в женщинах высшего света.

Они разговорились. Беседа лилась легко и естественно. Софья Михайловна оказалась удивительно образованной: она говорила о театре, о последней премьере в Мариинском, цитировала французских поэтов, которые были в моде, и с удивительной осведомлённостью обсуждала политическую обстановку. Ивашов, разгорячённый выпитым и её присутствием, с каждым словом всё сильнее поддавался её обаянию. Она умела слушать, умела переводить разговор на темы, интересные именно ему, и делала это так незаметно, что подполковник и не замечал, как она мягко, но настойчиво выведывает детали его жизни.

— Как вам удаётся сочетать службу с такими изысканными вечерами? — спросила она, наклоняясь чуть ближе. — Ваши сослуживцы, наверное, завидуют вашей свободе и вкусу.

Ивашов усмехнулся, откидываясь на спинку кресла. От выпитого и от неожиданного внимания красивой женщины его обычно сдержанный ум начал пьянеть сильнее, чем от водки. Он чувствовал себя героем, триумфатором, которому сегодня было позволено всё.

— Мои сослуживцы, — сказал он с лёгкой бравадой, — слишком заняты своими бумажками. А я, знаете, Софья Михайловна, умею наслаждаться жизнью. И сейчас, например, я наслаждаюсь вашей компанией, которая, как мне кажется, … — Он на минуту замешкался, подбирая слова — вы ведь не случайно оказалась в моём кабинете?

Она не смутилась, не отвела глаз. Напротив, в её взгляде появилась та самая искра, которая способна свести мужчину с ума.

— Вы очень проницательны, подполковник, — тихо сказала она. — Действительно, не случайно.

Они выпили ещё по бокалу. Разговор стал более интимным, более личным. Софья Михайловна рассказывала о своей жизни — легко, с долей самоиронии, — о том, как скучно бывает в свете, как трудно найти собеседника, с которым можно говорить по душам. Ивашов слушал, и в его воображении уже разыгрывались картины, одна другой краше. Давно, очень давно у него не было женщины, не было такой, которая могла бы разделить его триумф. Последние полгода, после отъезда жены, он жил как аскет, и теперь, под действием алкоголя и переизбытка чувств, его давно дремавшие инстинкты проснулись с удвоенной силой.

— Вы знаете, — сказал он, подаваясь вперёд и понижая голос, — мне кажется, что мы слишком хорошо провели время, чтобы так просто расставаться. У меня есть отличное вино дома. Настоящее коллекционное бургундское, которое я берёг для особого случая. Может быть, вы составите мне компанию и продолжим нашу беседу в более… уютной обстановке?

Она задумалась на мгновение, и Ивашов испугался, что она откажется. Но вместо этого она подняла на него свои янтарные глаза и произнесла:

— Уютная обстановка — это как раз то, чего мне не хватает в этом шумном городе. Но, подполковник, вы должны понимать: я не из тех женщин, которые соглашаются на случайные приглашения. У нас с вами была прекрасная беседа, и я бы хотела продолжить её без лишних... неловкостей.

— Никаких неловкостей, — поспешно заверил он, уже представляя, как везёт её на извозчике к себе. — Только хорошее вино и интересный разговор. Я клянусь вам честью офицера.

Она улыбнулась — той улыбкой, которую он готов был запомнить навсегда, — и кивнула.

— Что ж, подполковник, я принимаю ваше приглашение. Но только при условии, что вы позволите мне самой выбрать момент, когда наша беседа закончится.

— Разумеется, — выдохнул он, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. — Разумеется.

Глава 11. Бургундское и вересковый мёд

Декабрьская ночь обрушилась на них ледяным ветром, едва они вышли из тёплого вестибюля «Кюба». Ивашов, чувствуя приятное головокружение от выпитого и близости прекрасной женщины, помог Софье Михайловне устроиться в санях, нанятых у подъезда. Извозчик, кутаясь в армяк, хлестнул вожжами, и сани, мягко скользя по накатанному снегу, понеслись по ночному Петербургу.

Внутри было темно и холодно, но Ивашов почти не замечал мороза. Он сидел слишком близко к своей спутнице, вдыхая тонкий аромат её духов, смешанный с запахом морозного воздуха. Его рука, действуя почти инстинктивно, легла на её ладонь. Она не отстранилась, но и не ответила на его прикосновение, лишь слегка усмехнулась в темноте.

Ивашов буквально горел от вожделения. Алкоголь, расслабление, долгие месяцы одиночества и эта невероятная женщина, сидящая рядом, — всё смешалось в его сознании в единый пьяный порыв. Он попытался привлечь её к себе, обнять за талию, но она мягко, но настойчиво отстранилась, положив ладонь ему на грудь.

— Не торопитесь, подполковник, — прошептала она, и в её голосе послышалась насмешливая нотка. — Мы ведь почти приехали, да?

Он ещё сильнее распалился от этого короткого сопротивления. Отказ только подстёгивал его желание, делая его более острым и нетерпеливым. Он смотрел на её профиль, который угадывался в тусклом свете уличных фонарей, и уже не мог думать ни о чём другом.

Наконец пролётка остановилась у дома подполковника. Ивашов расплатился с извозчиком, помогая своей гостье выбраться из саней, и, слегка пошатываясь, повёл её к парадной. Ступени были скользкими, и он поддерживал её под локоть, наслаждаясь этим коротким прикосновением.

В квартире, едва закрыв за собой дверь и задвинув цепочку, Ивашов потерял всякое терпение. Он резко развернул Софью Михайловну к себе, прижал к стене в тёмной прихожей и, не спрашивая позволения, впился в её губы. Поцелуй был грубым, почти животным, и пахло от Ивашова табаком и шабли.

Она рассмеялась — тихо, но с той особенной, чуть насмешливой интонацией, которая могла бы отрезвить любого, но только не Ивашова в его состоянии. Она упёрлась ладонями в его грудь и оттолкнула, но не сильно, а так, чтобы он чувствовал: сопротивление — игра.

— Ну-ну, Константин... Костя, — прошептала она, переходя на «ты» с той лёгкостью, которая свойственна женщинам, привыкшим повелевать. — Не горячитесь. Всему своё время. Где же ваше знаменитое бургундское, которое вы берегли для особого случая? По-моему, этот случай настал.

Она мягко, но настойчиво отстранилась, и Ивашов, опомнившись, отступил на шаг. Его дыхание было тяжелым, но слова гостьи подействовали на него как холодный душ. Он почувствовал себя мальчишкой, у которого отняли игрушку в самый интересный момент. Но в этом, в этой игре, было что-то невероятно притягательное.

— Да, да, конечно, — пробормотал он, проводя рукой по волосам. — Бургундское. Идёмте в гостиную.

Он провёл её через тёмную прихожую в гостиную — небольшую, но уютную комнату, где мягкий свет настольной лампы отражался от полированной поверхности старого дубового стола. В углу стоял массивный книжный шкаф, за стеклом которого угадывались корешки книг в кожаных переплётах. На стене висел портрет какой-то дамы в старинном платье — видимо, покойной матери. Камин был холоден и не топлен, но в комнате сохранялось тепло от печей, которые топили днём.

Ивашов достал из буфета заветную бутылку — старое бургундское «Nuits-Saint-Georges», выдержанное более двадцати лет, с тёмной, почти чёрной этикеткой, на которой золотом было вытиснено название виноградника. Он с наслаждением вытащил пробку, и по комнате разлился тонкий, терпкий аромат выдержанного вина, с нотками спелых ягод и дуба.

— Вы не представляете, как я ждал этого момента, — сказал он, разливая вино по двум изящным бокалам, которые были для этого случая заранее подготовлены. — Это вино я купил три года назад у одного коллекционера. Говорят, что этот урожай был одним из лучших за столетие.

Софья Михайловна взяла бокал, поднесла к свету, любуясь рубиновым оттенком, затем сделала маленький глоток. На её губах заиграла довольная улыбка.

— Превосходно, — признала она. — Вы не обманули моих ожиданий.

Они чокнулись, и Ивашов, чувствуя, как вино разливается по телу, окончательно расслабился. Он опустился на диван напротив неё, и некоторое время они сидели молча, наслаждаясь вкусом и ароматом.

— А знаете, Константин, — сказала она наконец, ставя бокал на стол и слегка подаваясь вперёд, — я ведь не случайно подошла к вам в «Кюба». Я помню вас ещё с приёма у баронессы Вейс, вы были там осенью. Вы тогда показались мне не просто красивым офицером — в вас было что-то особенное. Уверенность, может быть, или та искра, которая отличает мужчину от мальчика. Я не могла забыть вас с тех пор. И когда сегодня увидела в ресторане — просто не смогла удержаться.

Ивашов слушал, и его сердце билось всё чаще. Слова лились мёдом, и он готов был поверить в каждое из них. Он посмотрел на неё, и в её янтарных глазах, освещённых лампой, он увидел нечто такое, что заставило его мысли совсем поплыть. Она была прекрасна, она была желанна, и она была его.

— Мне почему-то кажется, — сказал он, — что это не последний наш вечер, Софья Михайловна... Софи. И я не хочу, чтобы он заканчивался.

— Я тоже не хочу, — прошептала она, и её глаза стали вызывающими.

Она сделала ещё один глоток, не отрывая от него взгляда, и это был взгляд самки, жаждущей совокупления. Затем она поставила бокал на стол и, подавшись вперёд, сама впилась в его губы, вложив в этот поцелуй всю ту искусственную страсть, которая была её оружием.

Их языки встретились, и Ивашов мгновенно потерял голову. Он привлёк её к себе, чувствуя, как под тонкой тканью её платья бьётся сердце. Это уже было не просто желание — это была одержимость, затмившая всё остальное. Но через мгновение она отстранилась, тяжело дыша, и с улыбкой сказала:

— Ну что же вы, Константин? Идите, приведите себя в порядок, вымойтесь, будьте как следует. Я пока осмотрюсь здесь. Сделайте это для меня.

Ивашов, послушный, как мальчик, кивнул и направился в ванную, на ходу расстёгивая воротничок. В ванной он плеснул в лицо холодной водой, посмотрел на себя в зеркало и усмехнулся: его щёки горели, глаза блестели лихорадочным блеском.

А в гостиной Софья Михайловна действовала быстро и бесшумно. Она открыла свой ридикюль и достала небольшой флакон из тёмного стекла, с узким горлышком. Внутри была бесцветная жидкость без запаха — препарат, которым её снабдил ротмистр Лавров. Это был хлоралгидрат в концентрированном растворе, вещество, которое в те годы использовали врачи как снотворное и успокоительное. Несколько капель этого раствора, смешанные с вином, гарантированно выключали сознание человека на добрых семь-восемь часов, но не убивали, оставляя на утро лишь ощущение тяжёлого, беспробудного сна.

Мгновение, подумав, оценивая массу объекта, она быстро влила в бокал Ивашова столько капель, сколько требовалось для гарантированного эффекта.

Когда Ивашов вернулся в гостиную, накинув халат, она уже сидела в кресле, держа в руке свой бокал. Она протянула ему его бокал, наполненный до краёв.

— Выпьем за то, чтобы этот вечер стал началом чего-то большего, — сказала она, и в голосе её звучала тёплая, загадочная хрипотца.

Ивашов взял бокал, осушил его до дна, чувствуя, как тёплая волна разливается по телу. Софья Михайловна лишь пригубила, оставив вино в бокале нетронутым.

— А теперь, — сказала она, вставая и отступая на шаг, — ступайте в спальню, Костя. Я скоро приду. Мне нужно привести себя в порядок, но я не задержусь.

Она толкнула его в кресло, рассмеялась, и в этом смехе слышалась торжествующая, почти демоническая нотка. Ивашов подчинился, чувствуя, как тяжелеют веки. Он встал и на подгибающихся ногах побрёл в сторону спальни, на ходу сбрасывая халат.

Он лёг на кровать, с улыбкой предвкушая продолжение. Но через минуту его глаза закрылись, и он провалился в глубокий, беспросветный сон — такой же тёмный и холодный, как декабрьская ночь за окном.

Глава 12. Ночной досмотр

Софья Михайловна постояла в дверях, глядя на спящего Ивашова, и её лицо стало жестким и сосредоточенным. Она закрыла дверь спальни, вернулась в гостиную, где извлекла из ридикюля маленький кожаный футляр с набором инструментов для вскрытия замков.

Теперь у неё было несколько часов до того, как он очнётся. И она собиралась использовать их с максимальной пользой — чтобы найти то, что он так старательно прятал.

Она вышла из спальни, прикрыв за собой дверь, и направилась в кабинет. Прошла через гостиную, где на столике ещё стояли бокалы с остатками бургундского, и остановилась на пороге небольшой, но аккуратно обставленной комнаты. Здесь пахло табаком, старой бумагой и тем особым мужским запахом, который всегда сопутствовал кабинетам холостяков или брошенных мужей.

Леонтьева зажгла настольную лампу — яркий свет резанул по глазам после полумрака гостиной. Она подошла к креслу, стоявшему у письменного стола, опустилась в него и не спеша достала из ридикюля длинный мундштук из чёрного дерева, окованный серебром. Затем изящная коробочка с папиросами «Дюк де Монтебелло» — тонкими, ароматными, с золотым ободком, которые в Петербурге были в моде у дам полусвета и тех, кто хотел казаться слегка богемным. Она вставила папиросу в мундштук, чиркнула спичкой, и через мгновение тонкая струйка дыма, пахнущего ванилью и табаком, поплыла к потолку.

Она огляделась. Кабинет был типичным для штаб-офицера его ранга: массивный письменный стол из красного дерева, несколько стульев, книжный шкаф с подшивками старых журналов и справочников, портрет государя в углу, карта Российской империи на стене. Всё чинно, благородно, казённо.

Она выпустила тонкую струйку дыма и задумалась, с чего начать. Стол — всегда лучшее место. Именно на столе, в верхних ящиках, чаще всего прячут то, что не хотят показывать посторонним. Но прежде, чем приступить к досмотру, она взглянула на раскрытый футляр с отмычками, который лежала на краю стола — она достала его из ридикюля, когда вошла. Нахмурилась. Отмычки были не нужны, если можно обойтись другим способом. Она захлопнула футляр и, отложив его в сторону, бесшумно скользнула обратно в спальню.

Ивашов лежал в той же позе, в который она его оставила — на спине, раскинув руки, с лицом, обращённым к потолку. Его дыхание было тяжёлым, но ровным. Она подошла к стулу у кровати, на спинке которого был небрежно повешен френч подполковника. Методично, без лишней спешки, она обследовала карманы. В одном из них — портсигар, в другом — носовой платок, в третьем — связка ключей. Несколько ключей от дверей, один маленький, явно от шкатулки или ящика. Она удовлетворённо хмыкнула, сжав связку в ладони, и бесшумно вернулась в кабинет.

Теперь, обладая ключами, она могла действовать не спеша. Она опустилась в кресло, докурила папиросу, затушила её в пепельнице, и принялась за досмотр. Методично, один за другим, она открывала ящики стола. Верхний — канцелярские принадлежности, чернильница, стопка чистой бумаги. Второй — личные документы, старые письма. Третий ящик был заперт, и ключ, найденный во френче, подошёл к нему идеально.

Когда ящик открылся, Софья Михайловна на мгновение замерла. На дне, аккуратно сложенная стопкой, лежала коллекция порнографических фотографий — довольно откровенных, в духе тех, что можно было купить в подпольных лавках в Пассаже. Она взяла одну из них, поднесла к свету, и на её губах заиграла саркастическая улыбка. Женщины на снимках были пышнотелы, вульгарны и явно принадлежали к низшему сословию.

— Я бы смотрелась лучше, — прошептала она себе под нос с лёгким презрением.

Она отбросила фотографии в сторону и продолжила досмотр. Глубже, в том же ящике, среди старых конвертов и счётчиков, лежала папка с документами. Леонтьева взяла её, раскрыла и поняла: вот оно. Здесь были выкладки по грузовым перевозкам на Транссибе, расписания поездов, данные о пропускной способности станций, запасах угля и состоянии мостов. Некоторые листы были исписаны рукой Ивашова — видимо, ему было лень переписывать все эти сведения в свой блокнот, или же он не успел этого сделать. Другие, отпечатанные на машинке были явно выдраны откуда-то, в верхнем правом углу было напечатано «Секретно». Очевидно, это были именно те сведения, которые он и должен был передать врагу. Она бегло пробежала глазами по страницам, но не стала забирать папку — просто отметила про себя, где её обнаружила и положила обратно в ящик.

Затем она перешла к бюро, стоявшему у стены. Открыв его, она нашла то, что искала: заветный блокнот Ивашова, в котором он делал свои заметки. Леонтьева взяла его в руки, пролистала. Почерк был нервным, с помарками, но записи были подробными — расчёты по перевозкам, замечания по узким местам дороги, личные пометки. Она лишь зафиксировала факт существования блокнота, мысленно отметив, что он является прямым доказательством его преступной деятельности. Забирать его она также не стала.

Наконец, она открыла последний ящик — самый нижний, где у большинства мужчин хранятся вещи, которые они считают наиболее ценными. В нём лежала пачка денег, перевязанная резинкой — несколько пачек по пятьсот рублей. Леонтьева быстро пересчитала: около десяти тысяч. Сумма, которую штаб-офицер никак не мог заработать честным путём. Она усмехнулась. Вот она, плата за предательство.

Сейфа в кабинете не было, и Софья Михайловна отметила это с лёгким сарказмом — Незачем держать секреты дома, не положено.

Ивашов не был так уж осторожен, раз позволил себе хранить компрометирующие документы в домашнем столе. Взгляд Леонтьевой скользнул по визитным карточкам на его столе — несколько из них принадлежали военным агентам Австро-Венгрии и Германии. Она отметила этот факт.

Всё было сделано. Досмотр занял около двух часов. Леонтьева села за стол, взяла лист бумаги, обмакнула перо в чернильницу и вывела несколько строк изящным, каллиграфическим почерком:

«Константин Аристархович! Благодарю за восхитительный вечер. Вы были безупречны. Но, увы, я не та женщина, которая ждёт утра. Надеюсь, вы поймёте. С наилучшими пожеланиями, С.М.»

Она свернула записку треугольником и поставила её на стол, рядом с пустой папиросной коробкой. Затем поднялась, поправила платье, окинула кабинет прощальным, холодным взглядом и бесшумно вышла в прихожую.

В спальне Ивашов продолжал спать. Она заглянула туда на мгновение — на его лице застыла глупая, расслабленная улыбка, словно ему снилось что-то приятное. Леонтьева скривила губы в презрительной усмешке.

— Прощайте, господин подполковник, — прошептала она.

Она накинула пальто, поправила вуаль и бесшумно, как тень, скользнула к выходу. Дверь за ней закрылась с едва слышным щелчком.

На лестничной клетке её уже ждал Лавров — он стоял в тени, опершись о стену, и курил папиросу, глядя на неё с лёгкой усмешкой.

— Ну что, Софья Михайловна? — спросил он тихо. — Всё прошло гладко?

Она поправила вуаль и кивнула, в её янтарных глазах мелькнула искра удовлетворения.

— Гладко, Владимир Николаевич. У нас есть всё, что нужно. — Подробно описала ротмистру всё, что удалось обнаружить. —Теперь дело за вами.

Они бесшумно спустились по лестнице и исчезли в декабрьской ночи, оставив за собой лишь сонного подполковника, который даже не подозревал, как близко подошёл к своей гибели.

Глава 13. Размышления у камина

Кабинет Лаврова на Таврической, 17, был погружён в полумрак, разгоняемый лишь пламенем камина и настольной лампой, стоявшей на краю рабочего стола, заваленного папками. За окнами выла декабрьская позёмка, но в комнате было тепло и уютно. Два кресла стояли у камина, и в них попивая горячий чай из фарфоровых чашек, расположились хозяин кабинета и его гость.

Лавров, отставив чашку в сторону, задумчиво смотрел на огонь. Пламя, пляшущее в камине, бросало тени на его лицо, делая его ещё более сосредоточенным и умудрёным годами опыта. Напротив него сидел Зыков — внешне спокойный, но в его глазах читалось напряжение человека, привыкшего решать задачи быстро и не терпящего промедления.

— Ну что, Владимир Николаевич, — начал Зыков, прерывая затянувшееся молчание, — пора принимать решение. Ивашов — шпион, это уже вне сомнений. Секретные сведения у него на руках, он собирается передать их японцам. Но что меня поражает — его беспечность. Он хранит документы дома в открытую, встречается с резидентом без всякой маскировки, прямо в форме. Как будто не отдаёт отчёта, чем занимается. Это или верх наглости, или...

— Или глупость, — перебил Лавров, негромко, но весомо. — Но глупость, порождённая не столько слабостью ума, сколько уверенностью в собственной неуязвимости. Он обвёл вокруг пальца своего начальника — и решил, что может обвести всех, что он поймал бога за бороду. И это, Павел Андреевич, самая опасная ловушка для такого человека. Он уже не видит реальности. Он видит только свою игру.

Зыков усмехнулся, и это было скорее усталое согласие.

— Возможно, вы правы. Но я хочу спросить вас вот о чём, Владимир Николаевич. Вы работали с десятками подобных типов. Что движет такими людьми, как Ивашов? Почему офицер, имеющий всё — чин, уважение, карьеру — вдруг решает всё это предать?

Лавров не ответил сразу. Он взял чашку, отпил глоток остывшего чая и поставил её обратно на столик, прежде чем заговорить. Голос его был спокоен, но в нём чувствовалась та глубинная мудрость, которую дают только годы тяжёлой и опасной работы.

— Я часто задавал себе этот вопрос, Павел Андреевич. И знаете, к какому выводу я пришёл? Предательство редко начинается с глобальной идеи. Оно не случается вдруг. Ивашов не проснулся однажды утром и не сказал себе: «Сегодня я стану шпионом». Всё начинается с малого. С карточного долга, с проигрыша, с минуты слабости, когда человек решает, что маленькая уступка — это не страшно. «Я просто возьму эти деньги», «я просто передам эту мелкую бумажку», «со мной ничего не случится». И он делает один шаг, потом второй, а когда оглядывается — позади уже пропасть, и возврата нет.

Он помолчал, давая словам осесть в сознании собеседника, и продолжил:

— Ивашов — это человек, который однажды переступил черту. Он убедил себя, что это не предательство, а всего лишь игра. Он думал, что контролирует ситуацию. Но это иллюзия. Когда человек начинает играть с совестью, он перестаёт быть хозяином своей жизни. Он становится рабом обстоятельств. И чем дальше он заходит, тем сильнее запутывается. В конце концов он уже не выбирает — его выбирают.

Зыков нахмурился, обдумывая слова Лаврова. Он поднёс чашку к губам, но не стал пить, а поставил её обратно и произнёс с некоторой досадой:

— Но ведь есть и те, кто не предаёт. Те, кто, оказавшись в той же ситуации, находит в себе силы отказаться. Почему Ивашов не нашёл? Почему он сломался?

Лавров слегка улыбнулся, но улыбка была грустной.

— Потому что у него не было стержня, Павел Андреевич. Было желание казаться, но не быть. Он хотел выглядеть сильным, но внутри был слаб. И когда на него надавили — когда долг прижал его к стенке — он не выдержал. Он выбрал лёгкий путь, думая, что сможет потом исправить всё. Но человек, который однажды выбирает лёгкий путь, уже не может вернуться на трудный. Это свойство человеческой природы. — Лавров чуть подался вперёд и посмотрел Зыкову прямо в глаза. — Вы, Павел Андреевич, можете себе представить, чтобы вы, оказавшись в такой ситуации, поступили так же?

Зыков задумался, и в его глазах мелькнула тень раздражения — не на Лаврова, а на себя, на свою неспособность дать мгновенный ответ. Он понимал, что Лавров задал вопрос, который задевает самое главное. Он хотел сказать что-то, но Лавров, заметив его замешательство, тихо продолжил:

— Я не спрашиваю вас, чтобы поставить в неловкое положение. Я просто хочу сказать: разница между Ивашовым и нами — в том, что у нас есть то, чего у него нет. Внутренний закон, который нельзя переступить. Ивашов его переступил. И теперь ему придётся платить.

Зыков наконец нашёлся с ответом, и его голос стал более уверенным.

— Значит, вы считаете, что природа предательства — не в корысти, а в отсутствии этого внутреннего закона?

— Именно, — кивнул Лавров. — Корысть — лишь повод, верхушка айсберга. Глубинно же предательство рождается там, где человек перестаёт различать добро и зло. Где он начинает верить, что цель оправдывает средства. Ивашов начал с того, что просто хотел спасти свою шкуру. А закончил тем, что уже не видит разницы между правдой и ложью. Он даже не понимает, что делает что-то дурное. Он просто выполняет работу, за которую ему платят.

Зыков откинулся на спинку кресла и, глядя на огонь, произнёс задумчиво:

— И вы думаете, что он осознает это, когда мы возьмём его с поличным? Когда он увидит, что игра окончена?

Лавров покачал головой.

— Нет, Павел Андреевич. Он не осознает. Он будет чувствовать только страх. Потому что такие люди, как он, никогда не понимают, где они ошиблись. Они всегда считают себя жертвами обстоятельств. «Меня вынудили», «я не хотел», «так сложилась жизнь». Они не видят своей вины. И в этом их самая большая трагедия.

Он взял чайник, стоявший на столике, и налил себе ещё одну чашку. Затем поднял её, будто произнося тост, и сказал:

— Но мы не судьи, Павел Андреевич. Мы всего лишь ремесленники своего дела. Мы не решаем, виновен он или нет. Это будет решать суд. Мы только должны сделать так, чтобы он не ушёл от правосудия. И мы это сделаем. Завтра. На квартире у Тано.

Он отпил чай, и его лицо стало снова сосредоточенным и деловым, как у человека, который готов действовать.

— Завтра, Владимир Николаевич, — ответил Зыков, ощущая, что спор был не столько о тактике, сколько о более важном — о том, что определяет человека и что им движет. — Я распоряжусь, чтобы всё было готово.

В кабинете снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в камине. За окнами завывал ветер, и где-то далеко, в ночном Петербурге, шёл к своему неизбежному концу человек, который ещё не знал, что его игра проиграна.

Глава 14. Захват

Квартира майора Тано на Английской набережной, была плотно окружена ещё за час до назначенной встречи. Лавров не любил оставлять ничего на волю случая. Он лично проверил расстановку людей: двое у чёрного хода, трое в парадном, ещё двое — на лестничной клетке этажом выше и ниже. Вся операция была выверена до секунды как часовой механизм.

Ровно в девять вечера, когда, по данным наружного наблюдения, Ивашов вошёл в подъезд дома, Лавров дал знак. Он стоял в тени у парадной двери, рядом с Зыковым. За ними, в тусклом свете газового фонаря, угадывались фигуры жандармов — четверо крепких мужчин в шинелях, с револьверами наготове. С ними был и военный прокурор, надворный советник Пётр Николаевич Степанов, присланный из военно - судебного ведомства для юридического оформления захвата. Понятые — двое присяжных поверенных из городской управы, которых Зыков предусмотрительно пригласил для соблюдения формальностей.

— Время, — тихо сказал Лавров, взглянув на свои карманные часы. — Пора.

Он поднялся на лестничную клетку, за ним бесшумно двинулись остальные. У двери квартиры Тано он замер, прислушиваясь. Из-за двери доносились приглушённые голоса — Ивашов говорил что-то, японец отвечал мягким, воркующим тоном.

— Ключ? — спросил Зыков.

— У нас есть отмычка, — усмехнувшись, ответил Лавров, жестом подзывая одного из жандармов, наиболее рослого. И в следующий миг тишину разорвал грохот: дверь выбили с одного сильного удара и в ту же секунду в квартиру ворвались жандармы.

— Всем стоять! — рявкнул Лавров, выхватывая револьвер. — Не двигаться! Руки вверх!

Картина, открывшаяся в гостиной, была именно такой, как он и предполагал. Ивашов сидел в кресле, бледный, с вытаращенными глазами, застыв с папкой в руках. Напротив него, за низким столиком, возвышался майор Тано, облачённый в своё тёмно-синее кимоно. Между ними на столе лежали бумаги — те самые, что отсутствовали в папках мобилизационного отделения. Семь листов с грифом «Секретно», с графиками подачи вагонов и угольными запасами. Часть из них была в руках Ивашова, часть — уже перед японцем, готовые к передаче.

На мгновение воцарилась полная тишина. Затем Тано медленно поднялся, и лицо его, ещё секунду назад невозмутимое, приобрело выражение гневного достоинства.

— Как вы смеете! — заговорил он на безупречном русском, но с лёгкой, почти неуловимой певучей интонацией. — Я — помощник военного агента (так тогда назывался военный атташе) Его Императорского Величества императора Японии. Я обладаю дипломатическим иммунитетом. Вы нарушаете международное право!

— Молчать! — рявкнул Зыков, выступая вперёд. Он держал в руках заранее заготовленный ордер, подписанный начальником Главного штаба. — Майор Тано, ваши действия рассматриваются как шпионская деятельность, несовместимая с вашим дипломатическим статусом. Вопрос о вашем положении будет решаться через Министерство иностранных дел. Пока же вы будете задержаны и препровождены в ваше посольство, где будете ожидать решения о высылке как persona non grata.

Тано презрительно скривил губы, но не проронил ни слова. Он понимал, что спорить бесполезно. В его глазах застыла холодная ярость, но он не сделал ни одного неосторожного движения.

Лавров тем временем подошёл к Ивашову, который так и сидел, вжавшись в кресло, и смотрел на происходящее с выражением обречённой покорности. Его руки дрожали, папка с документами лежала на коленях, и он не пытался её спрятать.

— Подполковник Ивашов, — голос Лаврова был ледяным, официальным, без тени прежней фамильярности. — Вы арестованы по обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу Японии.

Он выдержал паузу, давая словам осесть в сознании арестованного, и продолжил:

— Ваши действия подпадают под статьи 108 и 111 Уголовного уложения 1903 года. Статья 108 — государственная измена, заключающаяся в способствовании неприятелю в его враждебных против России действиях. Статья 111 — шпионство, то есть сообщение агенту иностранного государства секретных сведений, касающихся внешней безопасности России. — Он наклонился к Ивашову, заглядывая ему в глаза. — Вам грозит смертная казнь.

— Нет… — прошептал Ивашов. Его лицо стало серым, как пыль на подоконнике. — Я… вы не понимаете… это не так…

— Молчите, — перебил его Зыков, подходя ближе. — Ваше дело будет рассматривать военно-полевой суд. Вы имеете право на защитника, но ваши преступления очевидны. Документы, которые вы собрались передать — он указал на папку, — найдены у вас на руках. Это неоспоримые улики.

Тано, стоявший в стороне с двумя жандармами, позволил себе короткую, холодную усмешку.

— Вы слишком самоуверенны, господа, — сказал он, и в его голосе слышалась ядовитая мягкость. — Вы думаете, что поймали главного? Это только начало.

— Уведите его, — приказал Лавров жандармам, кивая на Тано. — В посольство, под конвоем. Пусть дипломаты разбираются.

Японец, бросив прощальный, презрительный взгляд на Ивашова, вышел из комнаты в сопровождении двух жандармов. Его осанка оставалась безупречной, как и всегда, и только в глазах горел холодный, ненавидящий огонь.

Ивашов смотрел ему вслед, и в его взгляде читалось нечто большее, чем страх. Это было отчаяние человека, который понял, что его предали, и не знает, кто и когда.

— Встать! — приказал Зыков. — Вы будете препровождены на Шпалерную для дальнейшего следствия.

Ивашов медленно поднялся, и его колени дрожали так, что он едва стоял. Лавров подошёл к нему и, заглянув в его бледное, осунувшееся лицо, тихо произнёс:

— Вы сами выбрали этот путь, Константин Аристархович. И теперь вы ответите за свой выбор.

Ивашов не ответил. Его глаза были пусты, и в них не было ни слёз, ни гнева — только бесконечная, ледяная пустота человека, который уже смирился со своей судьбой.

Его вывели, надев наручники. На улице его усадили в закрытый экипаж — не в извозчичью пролётку, а в казённый фургон с решётками на окнах. Дверца хлопнула, и экипаж тронулся, покачиваясь на неровной брусчатке.

Его везли в Дом предварительного заключения на Шпалерной — мрачное здание, где тишина была такой плотной, что в ней слышался каждый шаг надзирателя, каждый лязг ключа в замке. Здесь он должен был ждать следствия, суда, приговора.

Часть II. «Оружие для революции»

«Ты должна стать его тенью. Он должен поверить тебе настолько, чтобы раскрыть все свои планы.»

— Из инструкции ротмистра Лаврова агенту»



Глава 1. Киото, 1885 год.
«Киото Интернэшнл Клаб»

Район Мурасакино жил на стыке двух миров. С одной стороны, здесь ещё крепко держалась старая Япония: по узким переулкам бесшумно скользили фигуры в дзори, пахло жареным тофу и дымом из очагов, а в глубине дворов шелестели бамбуковые заросли. С другой — ветер перемен уже трепал бумажные сёдзи, и в воздухе витал запах угля, железа и типографской краски. Вдоль канала, где прежде плыли только лодки с рисом и дровами, теперь всё чаще мелькали европейские сюртуки, слышался чужой говор, а на вывесках рядом с иероглифами появлялись английские буквы.

«Киото Интернэшнл Клаб», прозванный завсегдатаями «Клубом на Мурасакино», стоял почти на берегу канала, в перестроенном особняке эпохи Эдо. Его прежний хозяин, какой-

то обедневший даймё, давно уступил дом под нужды новой эпохи. Теперь в нём сочетались несочетаемое: высокие потолки и деревянные галереи в старом стиле, но уже с застеклёнными рамами вместо бумажных перегородок; татами в дальних комнатах, а в главном зале — тяжёлые дубовые столы и стулья, привезённые из Европы. Газовые рожки мягко освещали помещение, бросая желтоватые блики на стены, увешанные картами Дальнего Востока и гравюрами укиё-э, соседствующими с фотографиями паровозов и телеграфных станций.

В тот вечер в клубе было шумно. В воздухе висел густой табачный дым — смесь терпкого английского табака, сладковатого опиума из курилен и тонкого аромата японских кисеру. На стойке у входа стоял поднос с бутылками виски, портвейна и ромом, а рядом — серебряный чайник с чаем и чашки из тонкого фарфора. Кто-то пил кофе — новинка, которую ещё не все приняли всерьёз.

У большого стола в центре зала собралась привычная компания. Эдвард Харрингтон из The Yokohama Herald склонился над телеграфной лентой, хмурясь и постукивая карандашом по столу.

— Опять тарифы! — проворчал он, поднимая глаза. — В Токио опять что-то меняют. Если так пойдёт, пароходство разорится раньше, чем мы успеем напечатать статью.

Рядом с ним Жюль Мартен из Courrier de l'Extrême-Orient лениво листал свежий номер японской газеты, переводя вслух особенно забавные заголовки.

— «Иностранцы и их странные привычки», — усмехнулся он. — Сегодня мы, видимо, «странные». Завтра, возможно, «полезные». Всё зависит от того, сколько денег вложат в железную дорогу.

Генрих Вебер, представлявший Deutsche Nachrichten aus Japan, что-то чертил на салфетке, бормоча себе под нос цифры. Он был из тех немцев, для которых любая беседа начиналась с контракта и заканчивалась расчётом.

— Если линия пойдёт через Осаку, — говорил он, не глядя на собеседников, — то стоимость перевозки упадёт на тридцать процентов. Но если через Нагою… тогда нам придётся пересмотреть условия.

В углу, у полок с книгами, тихо разговаривали двое японцев. Один из них, Тадаси Кавамура из Tokyo Nippo, делал пометки в блокноте, время от времени поглядывая на иностранцев. Он был связующим звеном между двумя мирами: понимал и английский, и французский, и немецкий, и умел переводить не только слова, но и смыслы.

— Они всегда говорят о деньгах и дорогах, — тихо заметил он своему собеседнику, молодому стажеру из редакции. — Но именно это и меняет Японию. Не храмы, не церемонии, а рельсы и телеграф.

Конни Циллиакус сидел в дальнем углу, у окна, откуда открывался вид на канал. Он был здесь своим: его знали, к нему обращались за советом, его просили перевести, объяснить, подсказать. И дело было не только в языках — Циллиакус умел слушать и запоминать. Он знал расписание пароходов, понимал, как работают таможни, и мог рассказать, где в Киото лучше всего купить чернила, бумагу или даже револьвер, если вдруг понадобится.

Но ещё он притягивал взгляды по другой причине: он был огромен. Не просто высокий — огромный, словно северный великан, случайно забредший в эти тихие улицы. В его фигуре было что-то от викинга, от древнего воина, и рядом с ним даже самые рослые европейцы казались чуть меньше, чем были на самом деле. Для японцев, привыкших к иным пропорциям, он был почти легендой — человеком из другого мира, где всё крупнее: дома, корабли, голоса.

Именно эта его «огромность» и делала его заметным. Не только физически — он занимал пространство вокруг себя, притягивал к себе разговоры, споры, даже случайные взгляды. И сегодня за ним наблюдали особенно пристально.

Кэндзи Сато, молодой журналист из Nihon Minzoku Shimbun, стоял у двери, держа в руках потрёпанный блокнот и стараясь выглядеть как можно незаметнее. Он был новичком

в клубе, и это чувствовалось: в том, как он мял поля шляпы, как оглядывался по сторонам, словно искал, куда бы спрятаться от этого шума и множества чужих языков. Его интересовали айны — народ, о котором в Японии говорили всё чаще, но понимали мало. Он хотел услышать о них не из книг, а из живых рассказов, и ему сказали, что Циллиакус — тот самый человек, который может помочь.

Сделав глубокий вдох, Кэндзи подошёл к столу.

— Прошу прощения, господин Циллиакус, — сказал он, слегка кланяясь. — Меня зовут Кэндзи Сато. Я пишу для Nihon Minzoku Shimbun. Мне сказали, что вы бывали на севере и могли слышать рассказы об айнах.

Циллиакус поднял глаза. В них мелькнуло любопытство, смешанное с усталостью — он уже столько раз отвечал на подобные вопросы. Но в этом молодом японце было что-то особенное: не подобострастие, а искренний интерес, почти детская жажда знаний.

— Бывал, но не на Хоккайдо, — ответил он, отодвигая в сторону стопку газет. — Зато читал отчёты голландских и русских путешественников. Вы ищете именно этнографические детали?

— Да, — кивнул Кэндзи, доставая блокнот. — Меня интересуют не только обычаи, но и то, как о них пишут иностранцы. Иногда в одной фразе — больше смысла, чем в целой статье.

Они сели за стол. Кэндзи аккуратно записывал всё, что говорил Циллиакус: названия мест, имена, даже интонации, с которыми произносились те или иные слова. Он переспрашивал произношение, старательно выводил иероглифы, иногда останавливался, чтобы подумать, как лучше передать смысл.

— Вы очень внимательны, — заметил Циллиакус, наблюдая за ним. — Обычно люди хотят услышать только «экзотику»: танцы, маски, легенды. А вы спрашиваете о том, как они живут, как думают.

— Потому что айны — не экзотика, — твёрдо сказал Кэндзи. — Они — часть истории Японии, даже если об этом не любят говорить.

В этот момент в зале поднялся шум. Кто-то громко рассмеялся, кто-то спорил о политике, а Харрингтон снова возмущался тарифами. Кэндзи невольно вздрогнул, но тут же взял себя в руки.

— Здесь всегда так шумно? — спросил он, чуть понизив голос.

— Всегда, — улыбнулся Циллиакус. — Это место, где рождаются новости. Здесь говорят о том, что завтра будет в газетах, а послезавтра — в истории.

Кэндзи кивнул, но в его глазах мелькнуло что-то ещё — не просто интерес журналиста, а что-то более глубокое, почти скрытое. Он внимательно следил не только за словами Циллиакуса, но и за тем, как тот держится, как выбирает выражения, будто оценивал не только содержание, но и самого человека.

И впервые за весь вечер Циллиакус задумался: а так ли случайна эта встреча?

Пока они разговаривали, в другом конце зала Тадаси Кавамура тихо переговаривался с кем-то из своих знакомых.

— Этот финн… — шепнул он, кивая в сторону Циллиакуса. — Он слишком много знает. И слишком много слушает.

— Он просто любознательный, — пожал плечами его собеседник.

— Любознательность — это одно, — возразил Кавамура. — А вот когда человек запоминает всё, что слышит, и потом использует… это уже другое.

Тем временем Жюль Мартен подошёл к их столу, держа в руке бокал с виски.

— А, вот вы где! — воскликнул он, усаживаясь без приглашения. — Я слышал, вы говорите об айнах? О, это чудесная тема! Можно написать целый цикл статей: «Загадочные народы Дальнего Востока». Публика обожает загадки.

— Публика любит сенсации, — сухо заметил Циллиакус. — А айны заслуживают большего, чем просто «загадка для европейцев».

— О, не будьте таким серьёзным, — отмахнулся Мартен. — Без сенсаций газеты не продаются.

Кэндзи слушал этот разговор, не вмешиваясь. Он делал пометки, но теперь уже не только об айнах — он записывал и эту перепалку, и интонации, и даже взгляды, которыми обменивались собеседники. Для него всё было важно: каждое слово, каждый жест.

Когда Мартен ушёл, Кэндзи снова повернулся к Циллиакусу.

— Простите, что прервал, — тихо сказал он. — Но я заметил… вы не любите, когда о народах говорят как о диковинках.

— Не люблю, — согласился Циллиакус. — Каждый народ достоин уважения. Даже если он маленький. Даже если о нём мало кто знает.

Кэндзи улыбнулся — впервые искренне, без напряжения.

— Тогда, возможно, мы сможем написать об айнах вместе, — предложил он. — Вы расскажете о том, что знаете из европейских источников, а я добавлю то, что слышал от стариков на Хоккайдо.

Циллиакус задумался. Предложение было неожиданным, но в нём чувствовалась искренность.

— Возможно, — медленно произнёс он. — Но сначала расскажите мне, почему вы этим занимаетесь. Почему именно айны?

Кэндзи на мгновение замер, словно решая, стоит ли открывать свою душу перед этим огромным северянином.

— Потому что, — наконец сказал он, — если мы не расскажем о них сейчас, потом будет поздно. Япония меняется. И многое исчезнет навсегда.

В его словах была такая глубокая печаль, что Циллиакус невольно проникся уважением к этому молодому человеку. В нём не было ни цинизма Харрингтона, ни легкомыслия Мартена, ни расчётливости Вебера. В нём была настоящая страсть к своему делу — редкая вещь в этом мире, где всё измерялось деньгами и контрактами.

За окном темнело. Газовые рожки горели ярче, отбрасывая длинные тени на пол. Где-то на канале звякнула цепь, и лодка тихо скользнула мимо, оставляя за собой рябь на воде. В клубе становилось всё теплее, всё уютнее, несмотря на шум и суету.

И в этот момент Циллиакус вдруг понял: он нашёл в этом странном месте, на стыке двух миров, человека, с которым можно говорить не о тарифах и контрактах, а о чём-то настоящем. О памяти, о народах, о том, что остаётся после нас.

А Кэндзи, делая последнюю пометку в своём блокноте, подумал о том, что сегодня он узнал не только об айнах, но и о человеке, который может стать ключом к чему-то большему. И хотя он не мог сказать этого вслух, в его душе уже зрела мысль: этот огромный финн — не просто источник информации. Он — часть чего-то важного, чего-то, что может изменить ход событий.

Так началась их история — в старом особняке на берегу канала, среди дыма, газет и чужих разговоров, в городе, который просыпался к новой жизни.

Но на самом деле, для одного из них история началась раньше…

Глава 2. Токио, Второе бюро Генерального Штаба. 20 Октября 1885 года.

Кабинет подполковника Ямамото Киёката находился на втором этаже здания Министерства армии, в той его части, что выходила окнами на Императорский дворец. Это было не случайно — тактический расчёт: из этих окон открывался вид на главную резиденцию императора, и всякий, кто входил в этот кабинет, невольно чувствовал, что отсюда, из этих стен, тянется нить к самым высоким сферам власти. Ямамото любил этот вид — он напоминал ему о том, что всё, что он делает, имеет значение.

В кабинете было тесно, но не от беспорядка — от вещей. Стены до самого потолка занимали книжные шкафы с откидными стёклами, за которыми рядами стояли тома на японском, китайском, немецком, французском и русском языках. На столе, заваленном папками, лежала развёрнутая карта восточной части Сибири с пометками, сделанными красным и синим карандашом. Рядом, на подставке из чёрного дерева, в изящной рамке с серебряным ободком покоилась фотография. На ней был изображён русский офицер — в парадном мундире с аксельбантами, с густыми бакенбардами и умным, проницательным взглядом. На груди его, поверх орденов, поблёскивал Георгиевский крест.

В кресле напротив стола сидел поручик Кэндзи Сато — совсем молодой человек, двадцати трёх лет, с худым, нервным лицом и тёмными глазами, которые выдавали в нём человека беспокойного ума. Он сидел прямо, почти навытяжку, положив руки на колени и не касаясь спинки кресла. На нём был мундир по новому образцу — без самурайских мечей, с европейскими погонами и пуговицами, на которых была выгравирована хризантема. Сато был из тех, кто недавно закончил Военную академию, из нового поколения, которое не знало сёгуната, не помнило старых войн и смотрело вперёд с жадным, почти болезненным интересом.

Ямамото молчал уже несколько минут — разглядывал бумаги, лежащие перед ним, изредка перелистывая страницы и делая пометки карандашом. Сато не шевелился. Он знал, что в кабинете начальника 1-го отдела Второго бюро ценится не столько суета, сколько терпение.

Наконец Ямамото поднял голову. Он был невысок ростом, сух, с высоким лбом, на котором лежали глубокие морщины, словно следы от долгих размышлений. Взгляд его был острым и холодным, как лезвие хорошо заточенного меча.

— Поручик Сато, — начал он, и голос его звучал ровно, без повышения, без интонаций, — вы, наверное, задаётесь вопросом, зачем вас пригласили сюда, когда остальные офицеры вашего выпуска сейчас занимаются рутинной работой в гарнизонах или проходят стажировку в полках.

Сато чуть наклонил голову:

— Так точно, господин подполковник.

— Я не люблю ходить вокруг да около, — продолжал Ямамото, и в голосе его послышалась сталь. — Сейчас я расскажу вам о вещах, которые не должны быть записаны нигде, кроме вашей памяти. Вы поняли?

— Так точно, господин подполковник.

Ямамото встал из-за стола, подошёл к окну, на мгновение задержался, глядя на крыши дворца, видимые сквозь осеннюю дымку, затем повернулся к поручику.

— Вы слышали о том, что 22 июля этого года была проведена реорганизация Генерального штаба? — спросил он, не столько спрашивая, сколько утверждая.

— Да, господин подполковник. Я слышал о создании Второго бюро.

— Правильно. Второе бюро — это разведка. Начальником этого бюро назначен полковник Огава Матадзи. Человек, который знает Китай как свои пять пальцев и который понимает,

что Китай — это лишь полдела. — Ямамото сделал паузу и добавил с нажимом: — Другая половина — это Россия.

Сато внимательно слушал. В глазах его промелькнул интерес, но он сдержал себя и не задал вопроса. Вместо этого он позволил себе перевести взгляд на портрет русского офицера, стоявший на столе начальника. Лицо на фотографии было мужественным, чуть надменным, с прищуренными глазами человека, привыкшего повелевать.

Ямамото перехватил этот взгляд. На губах его мелькнула едва заметная, понимающая усмешка.

— Заметили? — спросил он, и голос его стал чуть мягче, почти задумчивым. — Этот портрет? Вы, наверное, недоумеваете, зачем начальнику японской агентурной разведки держать на столе портрет русского офицера. Признаться, многие задавались этим вопросом. Даже мой собственный адъютант однажды осмелился спросить.

Ямамото подошёл к столу, взял фотографию в руки, подержал её, глядя на изображённое лицо, затем повернул к поручику.

— Это граф Николай Павлович Игнатьев, — сказал он, и в голосе его послышалась странная смесь уважения и холодной настороженности. — Генерал-адъютант Его Императорского Величества. Дипломат. Воин. Человек, который подписал с Китаем договор, подаривший России Уссурийский край. Человек, который в 1855 году заключил с нами первый договор о дружбе и торговле. — Ямамото усмехнулся, но в усмешке этой не было веселья. — Именно он, поручик, стал для меня символом. Символом всего, что мы должны понять о России.

Он поставил фотографию обратно на подставку и повернулся к Сато.

— Вы спросите: почему же я держу у себя на столе портрет человека, который столько сделал для своей империи за счёт наших интересов? Отвечу. Потому что я должен помнить, с кем имею дело. Я должен видеть его каждый день, входя в этот кабинет. Я должен смотреть в эти глаза и понимать: вот он, противник. Не тупой медведь, как о России говорят в Европе. А умный, хитрый, терпеливый. Он умеет ждать. Он умеет брать своё. И если мы расслабимся хотя бы на мгновение, он возьмёт и наше.

Сато слушал, не сводя глаз с портрета. Что-то в этом лице, в этом спокойном, уверенном взгляде вызывало у него странное чувство — смесь страха и восхищения. Он понял, что Ямамото держит этот портрет не как трофей и не как украшение. Он держит его как напоминание, как урок, как завещание от самого себя — помни, кто твой враг.

Ямамото, заметив, что слова его достигли цели, кивнул и продолжил:

— Вы знаете, поручик, что я был первым военным атташе Японии в России? В 1874 году меня отправили в Санкт-Петербург. Там я прожил три года. Три года — срок достаточный, чтобы понять две вещи. Первое — Россия огромна. Второе — она никогда не остановится.

Он сделал шаг к поручику и остановился прямо перед ним, глядя сверху вниз.

— Я видел их карты. Я видел их планы. Я беседовал с их генералами, и каждый из них смотрел на Восток так, как будто он уже принадлежит им по праву. Они строят железную дорогу. Они уже проложили путь от Екатеринбурга до Тюмени. Вы слышали об этом? В этом году, в 1885-м, эта линия была сдана в эксплуатацию. Первый рельсовый путь за Уралом. Пока это всего лишь кусок дороги, но за ним последуют другие. Я читал их газеты, я изучал их донесения. Их император, Александр Третий, уже наложил резолюцию на доклады генерал-губернаторов: «А пора, давно пора». Это не просто слова, поручик. Это сигнал. Они начнут строить. И когда они построят дорогу до Владивостока, они смогут перебрасывать войска от Урала до Тихого океана за считанные недели. — Ямамото сжал кулак. — И тогда начнётся наша война.

Сато сидел неподвижно, но он чувствовал, как напряглись мышцы — он буквально впитывал каждое слово.

— Сейчас у нас с Россией хорошие отношения. Более того — мы заключили с ними договор. Они нам симпатизируют. Они не видят в нас врага. Они видят в нас маленькую, экзо-

тическую страну, которой нужна опека. — Ямамото усмехнулся, и усмешка его была горькой. — Это их главная ошибка. И в этом — наше преимущество.

Сато позволил себе задать вопрос — первый вопрос за весь разговор:

— Господин подполковник, а разве с графом Игнатьевым вы не встречались лично?

Ямамото улыбнулся, и улыбка его была странной — в ней смешались воспоминания и что-то похожее на грусть.

— Встречался, поручик. В 1875 году, в Петербурге. Это был званый обед в честь японской делегации. Игнатьев сидел напротив меня. Мы говорили о Китае, о Корее, о том, как прекрасна русская зима. Он был любезен, остроумен и совершенно непроницаем. Я смотрел в его глаза и видел — он знает, что я разведчик. И я знал, что он знает. И мы оба делали вид, что ничего не происходит. — Ямамото замолчал на мгновение, затем добавил: — Это был один из лучших уроков, которые я получил в своей жизни. Урок дипломатии. Урок лицемерия. Урок того, что враг не всегда носит оружие. Иногда он носит фрак и говорит о погоде.

Он выпрямился и прошёлся по кабинету, заложив руки за спину.

— Война с Россией неизбежна, — сказал он, и голос его зазвучал глубже. — Не завтра, не через год. Может быть, через десять лет, может быть, через двадцать. Но она будет. Потому что две империи не могут делить одно море. Потому что они идут на восток, а мы — на север. И наши дороги пересекутся. И когда они пересекутся, мы должны быть готовы.

Он остановился и повернулся лицом к поручику.

— Мы должны готовиться к этой войне заранее. Не армию готовить — армия у нас хорошая, мы сделаем её ещё лучше. Мы должны готовить разведку. Мы должны знать, что происходит в России, что за люди там, кто может быть нам полезен, кто может стать нашим союзником, — Ямамото слегка наклонился к Сато, — а кто станет нашим врагом.

— Господин подполковник, — тихо спросил Сато, — вы считаете, что я способен на такую работу?

Ямамото выпрямился и внимательно посмотрел на него. Несколько мгновений он изучал его лицо, глаза, осанку.

— Вы, поручик Сато, — сказал он наконец, — закончили академию с отличием по иностранным языкам. Вы говорите по-английски, по-французски и, насколько я знаю, начали изучать русский. Вы провели два года в Европе, стажировались в Германии у немецких офицеров. Вы не женаты, у вас нет детей, и никто не будет задавать вопросов, если вы исчезнете на несколько месяцев, а потом появитесь снова.

Он снова подошёл к столу, взял одну из бумаг и подал её поручику.

— Вот. Досье на человека по имени Конни Циллиакус.

Сато взял бумагу, быстро пробежал глазами по тексту. На листе была фотография — лицо человека лет тридцати, с тёмными глазами и бледными чертами, в светлом костюме.

— Кто он? — спросил Сато.

— Финн, — ответил Ямамото. — Родился в Гельсингфорсе, в 1855 году. По образованию — инженер, по профессии — журналист и путешественник. Много лет провёл в Америке, потом в Азии. Сейчас — в Японии. Уже больше года. Он путешествует по стране, пишет статьи, — Ямамото сделал паузу, — и при этом активно интересуется положением национальных меньшинств. Финнов, поляков, народов Сибири — и вот теперь айнов на Хоккайдо.

Сато поднял глаза от бумаги.

— И чем он интересен для нас, господин подполковник?

Ямамото улыбнулся, впервые за весь разговор.

— Тем, поручик, что Циллиакус — противник Российской империи. Не просто противник — он финский националист. Он считает, что финны должны быть свободны от России. Он писал об этом в своих статьях, он говорил об этом в своих выступлениях в Европе. И он

ищет союзников, — Ямамото снова посмотрел прямо в глаза поручику. — Мы можем стать этими союзниками.

— Но он же гражданское лицо, — возразил Сато. — Он не военный. Как он может быть нам полезен?

— Он может быть нам полезен как связующее звено, — терпеливо объяснил Ямамото. — Циллиакус знает русскую эмиграцию. Он знает революционеров, которые хотят свергнуть царя. Он знает поляков, финнов, грузин, армян — всех, кого Россия угнетает. Если мы сумеем наладить с ним контакт, мы сможем получить доступ к сети недовольных по всей России. Это ценнее любого шпиона. — Он указал на портрет Игнатьева. — Именно так, как это делал Игнатьев с нами. Только в обратную сторону.

Он взял со стола карту Сибири и развернул её перед поручиком.

— Посмотри сюда, Сато. Россия огромна. Её границы простираются на тысячи вёрст. Но у неё есть слабые места — народы, которые не хотят жить под русским царём. Если мы сможем помочь им, хотя бы деньгами и оружием, мы создадим проблемы на флангах России. А когда начнётся война, — Ямамото указал на карту, — они ударят с запада, а мы — с востока. И Россия рухнет.

Сато смотрел на карту, и в его воображении проносились картины будущих битв. Он был молод, и кровь его говорила о подвигах, но он был умён и понимал, что речь идёт не о подвигах — о кропотливой, долгой, опасной работе.

— Итак, — сказал Ямамото, свернув карту и положив её обратно на стол, — я предлагаю вам начать с этого человека. Вы должны завоевать его доверие. Вы должны заинтересовать его. Вы должны стать ему другом. А потом — вы станете его напарником, его союзником в борьбе против общего врага.

— Каким образом, господин подполковник? — спросил Сато. — Он не знает меня. Зачем ему разговаривать с японским офицером?

Ямамото улыбнулся.

— Вы не должны быть для него японским офицером, — сказал он. — Для него вы будете журналистом. Вы будете молодым японским интеллектуалом, который интересуется малыми народами. Вы будете говорить ему об айнах, о Хоккайдо, о том, как вы восхищаетесь финнами и их борьбой за свободу. — Он сделал паузу. — Вы будете говорить ему о том, о чём он хочет услышать.

— Но я ничего не знаю об айнах, — признался Сато.

— Поэтому вы прочитаете всё, что есть по этой теме в нашей библиотеке, — резко ответил Ямамото. — У вас есть неделя. За неделю вы должны узнать об айнах больше, чем любой иностранный учёный. Вы должны уметь говорить о них так, чтобы любой слушатель поверил, что вы посвятили этому всю жизнь.

Сато кивнул. Ему было страшно, но он знал, что это страх — лучший спутник на пути к победе.

— Я всё понял, господин подполковник, — сказал он твёрдо.

Ямамото посмотрел на него с уважением. Этот молодой офицер был из нового поколения — того, которое не боялось смотреть в будущее и брать на себя ответственность.

— Ещё несколько правил, — сказал Ямамото, возвращаясь к своему столу и садясь в кресло. — Они просты, но важны. Запомните их раз и навсегда.

Он сложил руки на столе и начал перечислять, загибая пальцы:

— Первое. Никогда не спрашивайте прямо. Японцы, как и все азиаты, привыкли говорить намёками. Но европейцы — нет. Европейцы любят открытость. Поэтому будьте с ними откровенны. Говорите им правду — но лишь ту часть правды, которая вам выгодна. Это не ложь, это выбор информации.

— Второе. Изучите его страсть. У каждого иностранца есть что-то, что он любит больше всего на свете. У Циллиакуса — это борьба за свободу малых народов. Говорите с ним об этом. Делайте вид, что вы разделяете его убеждения. Чем больше вы будете ему поддакивать, тем быстрее он начнёт вам доверять.

— Третье. Не торопитесь. Вы должны познакомиться с ним, но не должны торопиться с предложениями. Сначала вы — просто журналист. Потом вы — друг. Потом вы — союзник. И только после этого вы его наставник, а он ваш агент. Это займёт месяцы. Годы. Но это единственный правильный путь.

Ямамото откинулся на спинку кресла и посмотрел на поручика поверх стола.

— Вас это пугает? — спросил он.

— Нет, господин подполковник, — ответил Сато. — Это меня воодушивляет. — Хорошо. — Ямамото кивнул, и на его лице появилось нечто похожее на одобрение. — Тогда идите. У вас есть неделя, чтобы подготовиться. А потом мы отправим вас в Киото. Циллиакус сейчас там. Начнёте с посещения клуба «Киото Интернэшнл Клаб»

Это место, где собираются иностранные журналисты, и где вам будет легче всего войти в его окружение.

Сато поднялся, щёлкнул каблуками и поклонился — по-военному, коротко, но с достоинством.

— Я не подведу вас, господин подполковник, — сказал он, глядя в глаза Ямамото.

— Верю, — ответил Ямамото, и в голосе его послышалась теплота, которой не было весь разговор. — Верю, поручик. Ибо от того, что вы сделаете, зависит судьба нашей страны.

Он протянул руку, и Сато пожал её — рукопожатие было крепким и коротким, как у мужчин, которые понимают друг друга без лишних слов.

— Иди, — сказал Ямамото, отпуская руку. — И помни: ты — самурай. Даже если ты одет в европейский костюм, даже если ты говоришь по-английски, ты самурай. Твоя честь — в служении императору. Твой долг — победить врага. Враг перед тобой. Но он не знает, что ты его враг.

Сато вышел, закрыв за собой дверь. Ямамото остался один. Он подошёл к окну, посмотрел на дворец, на тучи, которые собирались над Токио, затем перевёл взгляд на портрет Игнатьева. Русский генерал смотрел на него с фотографии, и в его глазах застыла та же холодная, оценивающая усмешка, что была у Ямамото мгновение назад.

— Скоро увидимся, граф, — тихо произнёс Ямамото. — Только не в Петербурге, а на полях Маньчжурии. И тогда посмотрим, кто из нас умнее.

Осенний ветер ударил в окна, и где-то вдали, за холмами, послышался глухой раскат грома — первого в этом октябре.

Глава 3. Киото, осень 1885 года. Паутина доверия

Осень в Киото приходила не с холодом, а с тишиной. Она опускалась на город, как тонкая вуаль, приглушая стук деревянных гэта на мостовых и делая разговоры в клубах чуть сдержаннее, будто сама природа призывала к осмотрительности. В «Киото Интернэшнл Клаб» теперь чаще пили горячий чай вместо виски, а споры о тарифах и железных дорогах сменялись рассуждениями о смысле перемен, которые несли с собой новые времена.

Встречи Кэндзи Сато и Конни Циллиакуса стали привычными. Они больше не выглядели случайными: теперь это был ритуал, почти обряд, который оба исполняли с внутренним уважением друг к другу. Кэндзи приходил в клуб с блокнотом, но уже не так торопливо записывал каждое слово — он учился слушать, а Циллиакус, в свою очередь, всё охотнее делился мыслями, словно ему было важно, чтобы кто-то их услышал и не превратил в газетную шутку.

Сначала они говорили об айнах. Кэндзи приносил старые записи, рассказы стариков с Хоккайдо, обрывки песен, которые уже начинали забываться. Циллиакус отвечал ему европейскими отчётами — голландскими, русскими, английскими, — и вместе они складывали мозаику, где каждая деталь имела вес. Потом разговор стал уходить дальше: от народов — к империям, от этнографии — к политике.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.